

# Наполеон

**Автор:**

Эдвард Радзинский

Наполеон

Эдвард Станиславович Радзинский

В книгу вошла драма Великой Французской революции в трех действиях.

Эдвард Радзинский

Наполеон

Действие первое

Сансон

Прогулки с палачом

Зимой 1996 года я приехал в Париж. И все представлял, как ровно сто лет назад были в Париже – Они...

Шел 1896 год. Это был первый визит русского царя во Францию – после того, злополучного, когда поляк Березовский выстрелил в его деда. Поляк мстил за поруганную Польшу. К счастью, Александр II тогда остался жив (его убьют потом – бомбой).

Теперь никто не стрелял. Толпы восторженных парижан заполнили улицы. В открытой коляске ехали: красавица императрица, Государь – милый молодой человек в военной форме – и очаровательная дочка.

Он записал в дневнике:

«25 сентября произошла закладка моста, названного именем папа. Отправились втроем в Версаль. По всему пути, от Парижа до Версаля, стояли толпы народу, у меня почти отсохла рука, прикладываясь. (Он отдавал честь, прикладываясь к козырьку фуражки. – Э.Р.) Прибыли туда в четыре с половиной и прокатились по красивейшему парку, осматривая фонтаны... Залы и комнаты интересны в историческом отношении».

Это «историческое отношение»... Оно уже тогда должно было Их поразить.

С площади Согласия (бывшей площади Революции) хорошо видны колонны церкви Святой Магдалины. Здесь, на кладбище у храма, когда-то были похоронены жертвы фейерверка. Он случился в знаменательные дни для той, французской королевской четы – во время бракосочетания Людовика XVI и Марии Антуанетты. И окончился страшными жертвами – сгорело много людей. Тогда в Париже говорили: это предзнаменование! Не к добру такое начало совместной жизни!

И у Них тоже произошло страшное и тоже в знаменательные дни. Случилось это незадолго до поездки в Париж, во время коронации... Они приехали на Ходынское поле – сверкало солнце, гремел оркестр. В павильоне – вся знать Европы. Но Они знали – все утро отсюда вывозили трупы: во время раздачи бесплатных подарков в ужасающей давке погибли почти две тысячи несчастных...

И тот же страшный шепот: не к добру это! С кровавой приметы начинается царствование!

«Интересны в историческом отношении»... Только потом царь узнает, как связан был с Ними Париж в этом самом «историческом отношении». Какой пророческой оказалась безликая фраза! Все, что узнали Они тогда в Версале, повторится в Их

жизни.

Был мягкий, безвольный Людовик – и Николая будут называть мягким и безвольным.

И две Елизаветы – сестра Аликс, набожная основательница Марфо-Мариинской обители. И другая, столь же набожная, с той же неземной улыбкой – сестра Людовика XVI.

Мария Антуанетта была властной и надменной красавицей. И его жена – властная и надменная красавица. И та же ненависть народа к королеве – Марию Антуанетту называли «австриячкой» и обвиняли в измене и разврате. И его жену будут называть «немкой» и обвинять в прелюбодеянии с мужиком. И ненавидеть! Так же ненавидеть!

И как те в любимом Версале, Они в любимом Царском Селе увидят те же страшные, яростные толпы восставших и станут их пленниками.

На кладбище у церкви Святой Магдалины Революция похоронит обезглавленных короля и королеву. Они будут лежать в безымянной могиле, в грязной яме, облитые негашеной известью.

И Их впереди ждала такая же участь – безымянная могила, грязная яма. Их, которые ехали тогда такие счастливые по Парижу!

Оскверненный собор Парижской Богородицы, храмы, превращенные в склады провианта, убитые священники, свергнутые с пьедесталов статуи королей... Поруганные мощи святых (святую Женевьеву, покровительницу Парижа, к мощам которой за помощью столько раз обращался народ в дни великих бедствий, разрубили топором на позорном эшафоте и бросили в Сену)...

Страшное кладбище у парка Монсо (оно было совсем недалеко от православного собора, который посетил Николай)... На этом кладбище они лежали вместе – блестящие аристократы и убившие их революционеры. И убившие этих революционеров другие революционеры...

Все эти воспоминания времен Французской революции станут Их будущим. Возвращаясь из Версаля, Они не знали: перед ними было зеркало.

Царица до конца поймет это лишь в страшном 1917 году.

И поэтому, узнав о его отречении, она в ужасе и странном безумии будет шептать по-французски – «abdique» (отрекся). И, должно быть, вспоминать, как Они стояли в той зеркальной зале.

Зеркала Версаля...

Последний русский царь был мистиком. Рожденный по церковному календарю в день Иова Многострадального, он был уверен в своем трагическом предназначении.

И, конечно, он не мог не заинтересоваться тем мистическим рассказом, о котором тогда, в дни столетия Революции, много говорили и спорили в Париже. Речь идет о пугающем пророчестве, сделанном за два десятка лет до Революции другим мистиком, неким Казотом.

Казот был масоном и сочинителем. Мистические взгляды придавали его изящным творениям несколько тяжеловесный характер пророчеств.

Но однажды случилось невероятное. В тот вечер в салоне маркиза де Водрейля собрался один из тех очаровательных кружков, которые исчезнут вместе с Галантным веком: несколько умных и весьма вольно мыслящих аристократов, несколько очень красивых и пугающе умных дам (в век господства философов красивым женщинам приходилось быть еще и умными, коли они хотели быть модными). Приглашен был и Казот – философ, литератор и блестящий рассказчик. Но утонченной беседы не получилось – Казот весь вечер пребывал в тоскливом молчании, причем долгое время угрюмо отказывался объяснить свое непонятное поведение.

Однако настойчивые дамы победили. И он рассказал, как внезапно перед ним предстало некое видение – тюрьма, позорная телега, потом эшафот со странным

сооружением...

Он описал его. Впоследствии оказалось: он описал гильотину... за двадцать лет до ее изобретения!

Но не диковинное сооружение напугало Казота. Он увидел нечто более страшное – очередь людей, поднимающихся на эшафот к гильотине, длиннейшую очередь, в ней были все самые блестящие фамилии Франции. И что самое ужасное – в ней были все присутствовавшие в тот вечер. И первым стоял он сам – Казот! Сверкал падающий топор гильотины, но очередь не уменьшалась, ибо все время к эшафоту подъезжала позорная телега, и оттуда высаживались очередные жертвы...

После такого рассказа, естественно, воцарилось тягостное молчание. И тогда одна из дам попыталась пошутить:

– В вашем рассказе меня более всего пугает не эшафот, но позорная телега, любезнейший Казот. Оставьте мне по крайней мере право подъехать к вашему загадочному сооружению в собственном экипаже.

– Нет, – вдруг сказал Казот каким-то странным, чужим голосом. – Право ехать на казнь в экипаже получит только король. А мы с вами отправимся туда в позорной телеге.

Поразительно: пророчество Казота приводит в своей книге внук того, кто был в то время хозяином этой самой позорной телеги. Когда 26 сентября 1792 года Казота повезли на гильотину, этот человек был рядом с ним, и у него было время поговорить с Казотом о его пророчестве. И внук услышал от него рассказ о господине Казоте и его последних минутах: как спокойно, но «без наглой самоуверенности» взошел он на эшафот. Что ж, двадцать лет назад Казот все это уже пережил – так что он приготовился! И хозяин телеги оценил это по достоинству, как знаток смерти.

Это был он – Месье де Пари, палач города Парижа Шарль Анри Сансон.

Ради него я и приехал в Париж в те зимние дни 1996 года. Я приехал на свидание с ним, следуя уморительной привычке литераторов, – решил подышать, так сказать, «теми же воздузями» и насладиться лицезрением мест, где жил мой герой. И все представлял себе, как ровно сто лет назад на обратном пути из Версаля царская семья проехала по Парижу – по древнему кварталу Марэ с его старинными сонными отелями, где в Тампле в дни Революции томилась несчастная королевская семья. Затем на площади Республики их коляска сделала круг...

От площади Республики и идет та самая улица Шато д'О. Александра Федоровна была нервной женщиной, и она наверняка вздрогнула, когда проезжала мимо этой улицы! Ибо здесь, в глубине сада, возделанного его женой, стоял дом моего героя.

Дом Сансона. Палача Сансона. Сансона Великого.

Каждый вечер я шел к тому месту, где когда-то стоял его дом. Я хорошо изучил все его жизнеописание – и подлинные, и ложные. Лучшая книга о нем принадлежит перу его внука. Но он писал ее, когда короли снова вернулись во Францию. Он жил в дни правления внуков тех, кого обезглавил его дед. И пришлось ему сочинять жизнеописание, в котором Сансон Великий выглядел добрым роялистом, нежно любившим короля, королеву и всех бесчисленных аристократов, которых он почему-то отправил к Господу с головами под мышкой... Но мы-то хорошо понимаем этих вчерашних революционеров, которым пришлось менять свои убеждения.

В Париже я часами стоял у его дома. Я старался увидеть, как выходил он на свою вечернюю прогулку, как редкие прохожие (это была тогда окраина Парижа), завидев его, торопливо переходили на другую сторону улицы...

А он шел. Один. Он тогда был молод, высок, красив.

Он привык разговаривать сам с собой. Ибо тогда он был презираем, и не было у него собеседников.

Сансон – палач города Парижа... Именно в те молодые годы он и начал вести Журнал, куда аккуратно записывал свой кровавый отчет. И я все представлял, как уже потом – старый, разбитый болезнью и страхом – пытался описать он свою жизнь. Жизнь, столь необыкновенную именно «в историческом отношении»...

И однажды, придя в гостиницу, я услышал голос. Слов не было – одно далекое, невнятное бормотание... Я бросился к крохотному гостиничному столу и начал торопливо писать. Голос тотчас пропал, но я не останавливался... Только впоследствии я понял: я переносил на бумагу чужие мысли. Его мысли. Я обнаружил их потом в «Записках палача», написанных его внуком.

Это были те же мысли, но... одновременно и другие!

И тогда мне стало казаться – он сам говорил со мной.

Рассказ Сансона, исполнителя высших приговоров

уголовного суда города Парижа

Вариации на тему «Записок палача»

«Я привык быть один. Я гуляю вместе с самим собой. Я и Я – мы шествуем вдвоем.

Я иду и думаю – как всегда, об одном и том же.

С тех пор как существует человечество – существует казнь. Сколько наказаний придумал зловредный человеческий род – и поручил Исполнителю. И все – с изощренными, изобретательными муками!

Возьмем самое легкое – бичевание. Вы думаете, просто секут? Нет, поусердствовали, выдумали – и поручили палачу волочить по городу

несчастливого, привязанного к телеге, а на каждой площади останавливаться и сечь! Сечь!

Но бичевание – это детские шалости по сравнению с клеймом, навсегда отлучающим человека от общества, с дыбой, ошейником и прочими пытками. Но разве палач их придумал? Люди придумали – и поручили палачу! И презирали его за это.

Венец нашей работы – смертная казнь. И опять: людям мало убить – им надо еще мучить, мучить, мучить!

Смерть на кресте – самое древнее из мучений казни. Но распятие было отменено римским императором Константином, ибо стало предметом поклонения христиан. Ничего, сколько новых казней придумали – и куда страшнее!

Колесование! После каждого колесования я, привыкший к ужасам палач, не в себе – мне все мерещится, все снится, как я раскладываю человеческое тело на колесе, ломаю суставы, залезаю в рот, отрезаю язык... Нет ни одной частички тела, которую при колесовании не «ласкает» палач! Но и это еще не самый худший вид смерти. Люди придумали сдирать кожу с живых, варить их в кипятке, сажать на кол... О, изобретательное человечество!

А эти тысячные толпы, приходящие глазеть на мучения... Им интересно! Складывается костер из дров и соломы, на него возводят осужденного, привязывают к столбу... Он будет долго мучиться, сгорая живьем, а толпа – смотреть, как корчится в огне несчастная жертва. Иногда мне кажется, что самые гуманные люди – это палачи. Во всяком случае, мы, палачи, придумали милосердную хитрость: при сожжении на костре мы ставим багор с острым концом для перемешивания соломы точнехонько против сердца осужденного, чтобы он мог лишиться жизни до мучений от огня...

Кого мы только не сжигали на кострах: еврея – потому что он не христианин; христианина – потому что он протестант; католика – потому что он стал атеистом... Люди приказывали – и мы сжигали! И они же нас за это презирают.

Почему же люди так презирают того, кого они же выбрали быть Исполнителем? Точнее – презирают и боятся... Боятся? Еще бы! При встрече со мной каждый невольно представляет себя в объятьях палача.

В заключение назову две самые простенькие казни – на виселице (для простолюдинов) и от меча (для дворян). Даже здесь, на последнем пути, – нет равенства.

Впрочем, Великая Революция отменила все эти многообразные ужасы и всех уравнила в смерти. Был принят закон: с 1790 года казнь для всех граждан стала единой – гильотина.

О том, что вышло из этого «облегчения», вы вскоре узнаете из моего рассказа.

Во Франции должность палачей – наследственная, передается от отца к сыну. Не важно, сколько тебе лет, когда умирает твой отец. С этого мгновенья ты – палач!

В нашем доме была комната, где висели мечи (каждый имел свою историю). Как справедливо заметил один из нас, свою профессию и свои мечи палачей – как скипетр королей – передавали мы, Сансоны, из рук в руки, от отца к сыну. А если после тебя не осталось сына, пусть приготовится муж твоей дочери – быть ему палачом!

Именно так стал палачом мой прадед Шарль Сансон – Сансон Первый.

Его предки были дворянами и участвовали в крестовых походах. Шарль Сансон родился в 1635 году. Вот он-то и женился на дочери палача города Руана. То ли это была безумная страсть, то ли попросту выгода: поговаривали, что Шарль впал тогда в большую бедность, а палачи очень неплохо зарабатывали...

Но уже вскоре тесть стал требовать от Шарля помощи на эшафоте.

В судебных актах города записана такая история: «Когда руанский палач потребовал от своего зятя нанести железным шестом удар преступнику, зять упал в обморок, и это сопровождалось хохотом толпы».

Но уже вскоре Шарль Сансон не только привык к казням – он преуспел в них. О его ударах мечом гремела такая слава, что после смерти жены ему тотчас

предложили уехать из Руана и стать палачом Парижа. Он переехал туда и поселился в месте, которое народ звал «Дворцом палача». Это было мрачное восьмиугольное строение с башенкой, около которой привязывали приговоренных к позорному столбу. Рядом шумел парижский рынок – там прадед брал припасы и товары. Таков был закон: палач мог взять с рынка столько, сколько мог унести в руках. Но он уносил слишком много, и однажды толпа торговцев подожгла его дом. Тогда мой предок и решил переехать в пустынный квартал, называвшийся Новой Францией, – теперь это часть Пуассоньерского предместья.

Ему было за шестьдесят, когда он женился на молодой женщине – разумеется, тоже родственнице палача. И в 1703 году, в самом начале века, который сделает наше имя воистину знаменитым, Шарль Сансон передал свою кровавую должность моему деду, ибо «душа почтенного старца осветилась нежными утехами любви». Он захотел отдохнуть от крови.

Я не смогу перечислить всех, кого покарал меч моего деда – Сансона Второго, ибо он, к сожалению, весьма неаккуратно вел Журнал казней. Отмечу, пожалуй, только Картуша. Это был великий грабитель, о подвигах которого народ до сих пор слагает легенды. (Дед колесовал его в 1721 году на Гревской площади.)

Тогда было много грабежей, целые банды нищих разбойничали на дорогах Франции... Людовик XIV умер, оставив страну в состоянии печали и крайнего разорения. Правил пятилетний король, вернее, его регент – герцог Орлеанский, провозгласивший очаровательный закон: «Запрещено все, что мешает наслаждению».

И действительно, после мрачного аскетизма последних дней Людовика XIV двором овладело безумие удовольствий. Сам бедный регент попросту сгнил от дурных болезней – этими «дорогими наградами, полученными от самых разнообразных прелестниц», «доблестными ранами, заработанными на поле самого восхитительного из сражений», герцог поистине гордился.

В то время топор палача часто бездействовал, и жертвы были малопримечательны – в основном все те же грабители, доведенные нищетой до преступлений.

Сансон Второй умер в 1726 году, сорока пяти лет от роду. Он оставил двух сыновей – Жана и Николя. И несмотря на возраст, старший из них, семилетний Жан, был тотчас посвящен в звание палача.

А на время его малолетства обязанности палача были возложены на некоего месье Гаррисона. Он-то и заставлял несчастного ребенка присутствовать при казнях на Гревской площади, ибо без Исполнителя казнь незаконна и является попросту убийством. И маленькая кукла – мой будущий отец – стояла на кровавом эшафоте и смотрела, как рубили головы...

Я думаю, именно тогда нестерпимый ужас поселился в детском сердце – оттого Жан Сансон так недолго орудовал на эшафоте. Отца разбил паралич, когда мне было только семнадцать лет. Я уже упоминал о комнатке в нашем доме, где в полумраке на стенах висели мечи – наши родовые мечи палачей, – выбирай любой! С детства я любил приходить туда. В колеблющемся пламени свечи сверкали лезвия... На всех этих великолепных широких клинках с удобными рукоятками кованого железа было вырезано одно слово – ПРАВОСУДИЕ.

Я много слышал от матери о своих предках – как они страдали от человеческого презрения, как таились от людей, как редко выходили из дому, стесняясь взглядов прохожих... Ничего этого во мне не было – я с детства ощущал себя палачом и с гордостью готовился к этой роли. Я презирал людское презрение.

Когда я взошел на эшафот в первый раз, отец рубил голову знатному дворянину. Помню, как тот ослаб и как отец ободрял его – когда-то гордого вельможу. Мне понравилось... И когда отец, побежденный болезнью, более не мог действовать мечом – меч оказался в надежных руках. Может быть, впервые в нашем роду за него взялся тот, кто хотел быть палачом.

Однако больной отец прожил еще два десятилетия. Все это время я без него орудовал на эшафоте, но... отец был жив, и потому он по-прежнему считался палачом города Парижа. С трудом шевеля ногами, тяжело дыша, он поднимался на эшафот и стоял в стороне – наблюдал за моей работой... Исполнителем я был утвержден только после смерти отца в августе 1778 года.

Между тем работы становилось больше – король старел, характер у него портился... И все чаще мне приходилось встречаться на эшафоте со знаменитостями. Вся Франция следила за моим топором, когда четвертовали беднягу Дамьена, покусившегося на жизнь самого короля.

Это случилось холодной ночью: король направлялся к карете, дрожа в своем модном рединготе (он был великий модник, наш Луи XV). Он уже было поставил ногу на подножку, когда этот Дамьен – самый что ни на есть простолюдин, чей-то слуга – проскользнул мимо гвардейцев к королю и нанес удар кинжалом. По воле Всевышнего лезвие прошло между ребрами и не задело ни одного драгоценного органа короля.

Дамьена схватили, и я его четвертовал... Как мучился этот несчастный, когда мы с помощниками рвали его тело клещами, когда раздирали его плоть на части мчавшиеся в разные стороны лошади... На эшафоте со мной был дядя Николя – палач дворцового ведомства. Но всей длинной и ужасной казнью руководил я, и выдержал, а вот несчастный дядя сразу отказался и от должности Исполнителя приговоров дворцового ведомства, и от довольно большого дохода – 24 000 ливров в год. Так я стал единственным палачом города Парижа.

Впоследствии, в дни Революции, я вспоминал этого Дамьена, вернее, его странное послание королю. Вот оно: «Я глубоко скорблю, что имел несчастье к Вам приблизиться и смел причинить Вам боль... Но если Вы, Ваше Величество, не перейдете на сторону Вашего народа, то в самое короткое время, может быть, через несколько лет, Вы сами, и дофин, и еще некоторые лица неизбежно должны будете погибнуть».

Королю эти слова, конечно же, показались безумием. Но уже его сыну они покажутся пророчеством.

Именно тогда, после смерти Дамьена, мне попался на глаза Журнал отца, в котором он записывал имена жертв и подробности казней. Оказалось, все мои предки заполняли Журнал – правда, бегло и плохо. Я решил продолжить сей кровавый реестр, но куда аккуратнее и подробнее – будто предчувствовал, со сколькими замечательными людьми мне доведется встретиться... увы, на

эшафоте!

Между тем отец мой хирел на глазах Но у него были мы – семеро сыновей, унаследовавших его ремесло. Теперь Сансоны рубили головы в Реймсе, Орлеане, Суассоне, Монпелье, Дижоне... И когда мы сходились у отцовского стола, слуги почтительно называли нас по местам службы – Месье де Реймс, Месье д'Орлеан, Месье де Дижон...

Эти домашние прозвища вскоре стали официальными. Так я стал называться Месье де Пари.

Никто никогда не смел говорить в доме о крови, об эшафоте.

Наши беседы с братьями за столом были самыми светскими, самыми возвышенными – о пьесах месье Мольера, о чудачествах месье Вольтера, о музыке месье Рамо... Кстати, все мои братья-палачи (впрочем, палачами мы никогда себя не называли, только официально – Исполнителями) обожали музыку и превосходно играли на самых разнообразных инструментах. Я, Месье де Реймс, Месье д'Орлеан и Месье де Дижон составляли превосходный квартет.

Но если все-таки приходилось говорить о казни, мы называли ее «делом». Допустим: «Мне придется завтра встать пораньше – у меня дело».

И все! И баста!

Кроме братьев, редко кто посещал наш дом. Да что я говорю – «посещал»! Люди старательно мыли руки, если случайно здоровались с нами. Аббат Гомар был одним из немногих, которые тогда решались приходить к нам. Этот францисканец часто стоял на эшафоте вместе с Исполнителем – помогал несчастным осужденным встретить последний час.

Палач направлял их к Всевышнему, священник – напутствовал.

За столом после рюмки хорошего вина отец Гомар бывал весьма словоохотлив. И однажды я узнал, что у него есть племянница – Жанна де Вобернье, существо очаровательное, но совершенно погрязшее в пороке. По словам аббата, Жанну сгубила ее замечательная красота: «Как жаворонка заманивают в клетку блеском зеркала, так одна проклятая куртизанка заманила мою пташку прелестями легкой жизни и посеяла в ней семена порока, каковые теперь дали такие пышные всходы!»

Порок меня тогда не особенно отпугивал, а красота привлекала. Я выведал у аббата, где живет сия порочная красавица, и, убедив себя (для облегчения души), что я должен вернуть ее на стезю добродетели, стал караулить у ее дома.

Это очень длинный рассказ – как я сумел очутиться в ее доме, как предстал перед нею (естественно, назвавшись иным именем), как увидел эти лазоревые глаза, эти коралловые губки и неправдоподобно роскошную копну белокурых волос...

Жанна полулежала на красном диванчике. Я пал к ее ногам...

Что было потом – я унесу с собой в могилу.

Впоследствии моя красавица Жанна, столь щедрая на любовь, пленила стареющего короля. Да, это была она – та, которая сделалась всевластной графиней Дюбарри. Она правила и сердцем короля, и Францией...

Но это потом... А тогда, во время наших встреч, она любила вспоминать, что родилась в Вокулере – в той самой деревушке, где родилась другая Жанна – Жанна д'Арк.

Она уже тогда была уверена в своем предназначении и говорила мне, что у нее будет что-то общее с судьбой той, великой Жанны. Что ж, она не ошиблась – они обе приняли нелегкую смерть.

Еще я помню, как однажды, уговаривая ее о свидании, я сказал жалкую фразу безнадежно влюбленного:

- Не прогоняйте меня, я могу вам еще пригодиться!

И я тоже не ошибся! Я пригодился ей – через двадцать лет на эшафоте.

Все эти годы я ее не видел, но имя Дюбарри было у всех на устах. Перед самой Революцией о ней много говорили в связи с «Делом об ожерелье королевы». (Впрочем, и мне пришлось сыграть печальную роль в этом деле.)

Госпожа де ла Мотт, потомка незаконного сына Генриха II, вышла замуж за бедного королевского телохранителя. Нужду она, в чьих жилах текла кровь древней королевской династии Валуа, сочла для себя незаслуженной участью. И придумала, как обогатиться.

Она узнала, что у парижских ювелиров находится необычайно дорогое ожерелье, которое покойный король предназначал для Дюбарри, но не успел выкупить. После его смерти казна была столь разорена, что королевской чете пришлось отказаться от ожерелья (хотя Мария Антуанетта была от него в восторге). Де ла Мотт придумала великолепную интригу...

Кардинал де Роган мечтал о красавице королеве. И де ла Мотт устроила ему встречу с ней, и королева попросила его купить для нее ожерелье. (На самом деле роль королевы сыграла некая девица Олива, необычайно на нее похожая.)

Кардинал согласился, и муж де ла Мотт уехал с этим баснословным ожерельем в Англию. Но все разъяснилось, мошенницу де ла Мотт схватили и приговорили к клеймению и розгам. Так наступил мой выход в этом спектакле.

Около шести утра мои помощники разложили ее на эшафоте во дворе тюрьмы Консьержери. Она кричала и проклинала нас. Я дал ей двенадцать ударов розгами – двенадцать ударов по заднице особе королевской крови!

После розог, когда она – с распущенными волосами, в изодранном платье – как пантера металась по камере, я связал ее, взял железо из жаровни и придавил к ее телу. Связанная, она продолжала отбиваться, и лишь кое-как мне удалось наложить клеймо и на другое плечо...

В ушах у меня до сих пор стоит ее крик: «Ты, жалкий палач, смеешь прикасаться к телу королей, ты, грязный ублюдок!»

Она была права – это было мое первое надругательство над королевской плотью.

Была она права и в другом – для людей я был ублюдком, вызывавшим в них страх и отвращение.

И они мне постоянно это доказывали.

Помню, однажды познакомился я с дамой. Благородной дамой. Я был тогда молод, хорош собою, высок, великолепно сложен. У женщин я имел большой успех (естественно, под чужим именем). Я старался изысканно одеваться, хотя и не мог носить голубой цвет – цвет французского дворянства. Однако я не стал рыться в древних пергаментях и поднимать вопрос: лишает ли должность палача звания дворянина. Я попросту заказал себе самое дорогое платье, но из светло-зеленого сукна. Оно так хорошо на мне сидело, что этот цвет вошел в моду, и щеголи при дворе начали носить вместо голубого мой светло-зеленый.

Именно тогда я обратил на себя внимание маркизы Х. Мы встретились на обеде, оживленно беседовали. На вопрос о моей службе я ответил, что состою офицером при Парламенте (что было почти правдой – ведь я исполняю высшие приговоры Парламента). Но кто-то из гостей узнал меня, и, когда я ушел, госпожа Х. узнала всю правду. Клянусь, она не была бы в большей ярости после знакомства с величайшим преступником!

Она даже подала жалобу в Парламент – требовала, чтобы меня выставили у позорного столба, чтобы я просил у нее прощения с веревкой на шее!

И тогда я выступил в Парламенте и спросил: как я мог обидеть ее знакомством со мною? Сам Бог влагает меч правосудия в руки короля, но, разумеется, сам король не может карать преступников, и он доверяет меч нам – Исполнителям! Я – хранитель меча правосудия, которое составляет атрибут королевской власти. Я укрощаю безумие преступных граждан, и только тупая чернь смеет покрывать позором мое звание. Приходится только сожалеть, что сие предубеждение

разделяют порой и порядочные люди...

Они не посмели меня осудить, но их лица выражали презрение и брезгливость. Они старались не смотреть на меня...

Что же касается маркизы Х. – впоследствии ей пришлось оценить важность моего занятия. В дни Великой Революции она вновь встретилась со мной – на эшафоте. И это я опустил на ее глупую голову нож гильотины.

Тогда же я женился. Мне опостылело заниматься любовью под чужими именами. Сколько раз после страстных объятий я видел столь же страстное отвращение, как только намекал на свою работу! И вот мне посчастливилось.

В то время окрестности Монмартра были заняты огородами бедняков. Там я и познакомился с бедным семейством одного огородника. Его милой и доброй дочери было за тридцать, она уже смирилась с тем, что останется старой девой.

Вскоре я понял, что вместо ужаса и отвращения, к которым так привык, я внушаю ей сострадание. Тогда я попросил ее руки и получил радостное согласие.

На свадьбу съехались все Сансоны. Среди долгого хмельного застолья ни один не обмолвился о нашей работе. И Месье д'Орлеан, и Месье де Реймс, и прочие братья веселились как обычные добрые буржуа.

Кровь осталась за дверью.

Я купил дом на улице Шато д'О под номером 16. Моя жена разбила там великолепный цветник.

Скоро она подарила мне сына. Веселый младенец играл среди цветов, не подозревая, какое я приготовил ему будущее.

Мы зажили тихо и замкнуто. Жена ввела в доме обычай – дважды в день мы собирались на молитву... И еще она следила за слугами, чтобы никто из них не позволял и намека на занятия хозяина...

Так я жил, тщетно борясь за свое достоинство, пока не грянула она – наша Великая Революция. С эшафота далеко видно, и я раньше многих понял, что она придет.

Это случилось в августе 1788 года. Очередная казнь должна была состояться в Версале, где пребывали тогда двор и король. Осужденный, некий Лушар, совершил отцеубийство – случайно, защищаясь от обезумевшего в гневе отца. Его приговорили к колесованию. Толпа была явно недовольна приговором. Эшафот воздвигали под угрожающий ропот.

Когда Лушар взошел на помост, люди вдруг с яростными криками бросились к месту казни. Они освободили осужденного и водрузили колесо, где должен был мучиться несчастный, на разломанные доски эшафота. Запылал огромный костер. И люди, взявшись за руки, плясали и пели, пока горел он – мой эшафот!

Палачи понимают толпу: люди взбунтовались не из-за несчастного Лушара. Они бунтовали против короля, они хотели беспорядка, они наслаждались погромом...

А король и двор были беспечны. В тот день в Версале был бал, и там тоже весело танцевали – в отсветах грозного костра... Революция упадет как снег на их головы!

Его Величество Людовик XVI... Его бедное жалкое Величество! Я три раза встречался с несчастным королем.

Первый раз я увидел его в связи с денежным затруднением: мне не заплатили жалованье – в казначействе не было денег. Я подал жалобу королю и был вызван в Версаль.

Я остановился на пороге залы, сверкающей мрамором, зеркалами и позолотой. Король не пригласил меня войти. Он стоял спиной ко мне и так провел всю аудиенцию.

– Я приказал, – молвил он, не оборачиваясь, – заплатить вам указанную сумму.

Именно тогда, рассматривая его спину – эту презирающую меня спину, – я отметил сильные мускулы шеи, выступавшие из-под кружевного воротника.

На прощание ему все-таки пришлось обернуться. И король – клянусь! – не смог скрыть ужаса. Нет, это не был обычный трепет человека при виде палача. Это был ужас!

Он будто почувствовал, где я увижу вновь эти мускулы шеи...

И еще: при выходе из дворца я увидел двух женщин. Одна была – сама величественность и надменность, другая – сама доброта. Это были они: королева и сестра короля – принцесса Елизавета.

Так в один день я увидел всех венценосных особ, которые падут от моей руки...

Как весело началась Революция! С какой праздничной легкостью народ овладел Бастилией! Правда, во всей «зловещей тюрьме тирана» оказалось всего несколько заключенных (один из них был безумен и никак не хотел покидать камеру).

Я буду часто вспоминать почти пустую Бастилию, проходя по переполненным революционным тюрьмам.

Свобода, Равенство и Братство! Или Смерть! О Великая Революция!

Равенство и Братство... Уже 23 декабря 1789 года (этот день – навсегда в моем сердце) на заседании Национального собрания разгорелась дискуссия. Депутаты предложили уничтожить унижительные ограничения, существовавшие для некоторых профессий. В частности, для нас (Исполнителей приговоров) и театральных актеров.

С актерами было все ясно, но палачи стали предметом дискуссии. Два выступления я переписал в Журнал.

Депутат аббат Мари: «Это не предрассудок и не предубеждение. Это справедливость. Каждый человек должен испытывать содрогание при виде господина, хладнокровно лишаящего жизни своих ближних. Это основано на понятиях Чести и Справедливости».

И тогда поднялся бледный щуплый человек. Он также (правда, несколько монотонно) заговорил о величии Свободы, Равенства и Братства, о неременном торжестве Всеобщей Справедливости. И потому, заключил он, человек не может быть лишен своих законных прав за исполнение обязанностей, предписанных ему во имя Закона!

Так я в первый раз увидел Робеспьера. И так Революция дала палачам равные права с другими гражданами. Разумные люди даже требовали запретить само постыдное слово «палач» и ввести только наше официальное наименование – «Исполнитель высших приговоров уголовного суда». Но это предложение как-то утонуло в речах...

Депутаты обожали говорить.

Я часто встречался с депутатом Национального собрания доктором Гийотеном. Только впоследствии я оценил, каким великим человеком он был. Ибо он, Гийотен, предчувствовал будущее. Не будь его, мы, Исполнители, попросту задохнулись бы в потоке жертв, которые поставит нам Революция. Куда мне, единственному парижскому палачу, было справиться с той бессчетной чередой осужденных, которую когда-то предсказал несчастный Казот? Здесь и армия палачей не справилась бы!

Гийотен был совершенно свободен от предрассудков в отношении моей профессии. Мы часто собирались у меня дома и музицировали. Он превосходно играл на клавесине, я – совсем недурно на скрипке.

И вот однажды играли мы арию из «Тарара» и размышляли о едином и равном для всех наказании – эта проблема очень занимала Гийотена.

- Виселица? – спросил он.

- Нет, – ответил я, – трупы повешенных сильно обезображиваются. Это портит нравы – ведь преступники подолгу висят на потеху толпе.

И мы опять играли. И размышляли.

- Нет, что ни говорите, доктор, – высказал я свое мнение, – но отсечение головы – самый приличный способ казни. Недаром его удостаивались одни привилегированные сословия.

- Правильно, – сказал он. – Но благодаря равенству перед законом, теперь этим способом могут пользоваться все!

Я прервал его восторги:

- Вы представляете, сколько теперь может быть таких казней? – (О, если бы мы могли тогда представить!) – И какая должна быть верная рука у палача и твердость духа у жертвы? А если осужденных много, то казнь может обратиться в страшные муки вместо облегчения...

Я привел много доводов. Мы опять задумались и продолжили нежную арию. И тут Гийотен высказал то, о чем я давно думал:

- Надо найти механизм, который действовал бы вернее руки человека! Нужна машина!

- Bravo! – воскликнул я.

И Гийотен стал еще чаще заходить ко мне – обсуждать, какая это должна быть машина. К счастью, был еще один музыкант, который порой присоединялся к нам. Это был немец – некто Шмидт.

В тот вечер мы составили великолепное трио, но наше музицирование весьма часто прерывалось рассуждениями о будущем аппарате.

– Там должна быть доска, и обязательно горизонтальная, чтобы осужденный лежал неподвижно... это очень важно, – говорил я.

– Именно, именно, – восторженно подхватывал Гийотен, играя нежнейшую арию из «Орфея и Эвридики».

Шмидт внимательно слушал наш разговор. Надо сказать, что он был механиком, занимавшимся изготовлением фортепьяно. Когда Гийотен ушел, Шмидт молча подошел к столу и набросал рисунок карандашом.

Это была гильотина!

– Но мой не хочет замешивать себя в этой штук... не надо говорить про мой... – сказал Шмидт.

Я взглянул на рисунок и не смог удержаться от крика восхищения. Там было все, о чем может мечтать палач: дернул за веревку – и лезвие ножа скользит между двух перекладин, падает на шею привязанного к доске осужденного... О, как это облегчало наш нелегкий труд – теперь любой гражданин мог стать палачом!

Я расцеловал Шмидта, и, чтобы унять охватившее меня возбуждение, мы продолжили играть нежнейшую арию. Уже на другой день я зашел к Гийотену. Он был вне себя от счастья!

Я присутствовал на заседании Национального собрания, когда Гийотен восторженно сообщил о новом изобретении. Как и хотел того Шмидт, о его участии не было сказано ни слова. И аппарат был назван (и совершенно справедливо) в честь отца идеи – доктора Гийотена!

Помню, описывая достоинства машины, добрейший Гийотен забавно сказал:

– Это гуманнейшее из изобретений века. Осужденный почувствует лишь слабый ветерок над шеей... Поверьте, этой машиной я так отрублю вам голову, что вы даже и не почувствуете.

Как хохотали граждане депутаты! Они не знали, что большинству из них предстоит испытать справедливость слов доктора – на собственной шее. Вот тогда и произошла моя вторая встреча с королем. Национальное собрание поручило доктору Луи, лейб-медику короля, высказать свое мнение о гильотине. В обсуждении должны были принять участие доктор Гийотен и, конечно, я – Исполнитель.

Стояла теплая весна 1792 года. Мы приехали в Версаль и прошли через сразу опустевший дворец – увидев нас, несколько слуг с жалкими, испуганными лицами тут же попрятались.

Лейб-медик принял нас в кабинете, за столом, покрытым зеленым бархатом. Когда мы обсуждали рисунок Шмидта, открылась дверь и вошел он – король! Он был в темном платье. Его приход меня не удивил – я знал, что король обожает слесарничать и сам выдумывает всякие механизмы. К тому же он продолжал считать себя главой нации, и перемена в системе исполнения наказаний не могла не интересовать его.

Король, нарочито не замечая нас, обратился к доктору Луи:

– Что вы думаете об этом?

– Мне кажется, что это весьма удобно...

– Но уместна ли тут полукруглая форма лезвия? Ведь шеи бывают разные: для одной круг будет чересчур велик, для другой – мал... – Он поправил рисунок (заменял полукруг кривой линией) и, стараясь не глядеть на меня, спросил лейб-медика: – Кажется, это тот человек? Спросите его мнение о моем предложении.

– Я думаю, замечание превосходно, – сказал я.

Действительно, испытания доказали верность замечания короля. И в этом король смог убедиться сам – во время нашей третьей, последней встречи...

20 марта Национальное собрание одобрило гильотину. Добрый Гийотен был вне себя от счастья – он избавил осужденных от страданий. Я не стал говорить этому славному человеку, что есть тайна, известная любому палачу: помимо мучений от самой казни, жертвы испытывают страдания, которые следует назвать посмертными, ибо наши ощущения продолжают существовать некоторое время и после нашего конца. И несчастные чувствуют нестерпимую боль после отсечения головы...

Собрав братьев в моем доме, я рассказал им об изобретении, менявшем в корне нашу жизнь. И Месье де Реймс, и Месье д'Орлеан, и Месье де Дижон были согласны со мной – великое изобретение! Это был первый и последний разговор за семейным столом о нашем занятии.

Между тем Революция принялась за дело. 10 августа подстрекаемые городской Коммуной толпы ворвались в королевский дворец. Король и его семья бежали под защиту Национального собрания, но оно уступило яростным революционерам из Коммуны, и король был отрешен от власти.

Его отправили в тюрьму – в Тампль.

Парижем и страной начали фактически править люди из городской Коммуны. Их вождем был некий Марат. Я помню желчное лицо этого гражданина, его желтые буравящие безумные глаза. У него было воспаление вен, и все тело его гноилось – я думаю, от этого зуда он и пребывал в постоянном бешенстве. Он всюду видел заговоры, всюду искал (и находил!) врагов Революции. «Друг народа» – так звала этого полубезумца восторженная толпа.

«Друг гильотины» – так назвал бы его я.

Они распустили Национальное собрание, избрали послушный им Конвент. Напрасно Лафайет пытался повернуть свою армию, подавить мятеж в Париже – солдаты его не слушались. И Лафайет, вчерашний кумир Революции, бежал в Германию.

Австро-прусская армия вступила во Францию. В ответ – ярость и кровь! И террор! Так моя гильотина стала главным действующим лицом – на нее теперь были обращены все надежды нации. Спасение в крови!

19 августа я приехал с осужденным фальшивомонетчиком на Гревскую площадь, но услышал крики: «Пошел на Дворцовую, Шарло!» Толпа по наущению Коммуны пожелала перенести гильотину под окна королевского дворца.

И они с ревом взялись за дело! Как любят они разрушать! Какой энтузиазм! Какое вдохновение!

Я не успел и глазом моргнуть – уже весь эшафот был разобран! Люди перенесли тяжелые доски на неизвестно откуда взявшиеся подводы – и двинулись, счастливые, в путь, ко дворцу, на площадь, которая отныне стала именоваться площадью Революции. И конечно, они распевали революционные песни и плясали.

Теперь все будет происходить под песни. Каждая казнь будет заканчиваться счастливым песнопением народа. И плясками. Причем в толпе у гильотины я буду часто видеть одни и те же лица.

Тогда, в начале, я так любил и эти песни, и эти лица – одухотворенные и грозные, как сама Великая Революция. Да и как мне их было не любить! Ведь это были первые люди за всю мою жизнь, которые смотрели на меня, вечно презираемого палача, не только без отвращения и страха – но с восхищением! Среди них было много молодых женщин – неистовых и прекрасных в своем революционном гневе.

Мои казни стали напоминать гигантские театральные представления, где я, презренный когда-то Сансон, был главным и любимым актером. Именно в те дни появилась традиция – показывать площади, заполненной тысячами людей, отрубленные головы аристократов.

Какой это был революционный порыв! Правда, не все могли его выдержать...

«С любимой рай и на эшафоте», – сказал я себе тогда, во время казни несчастной подруги моей грешной юности. Дюбарри осудили вечером, а уже наутро я ждал ее в канцелярии. Сначала привели отца и двух сыновей из семейства Ванденивер – они были осуждены как «соучастники в ее преступлениях против народа». Вместе с ними я должен был казнить троицу фальшивомонетчиков.

Я закончил их предсмертный туалет – и привели ее. Я не видел ее двадцать лет, и сейчас, когда она шла за перегородку, где готовили к смерти осужденных, я не узнал прекрасные черты, искаженные безумным ужасом. Лицо, помятое после бессонной ночи, распухло от слез.

Я не успел спрятаться. Мгновение она смотрела на меня, видимо, силясь что-то вспомнить, потом отвернулась. Я с облегчением вздохнул – не узнала! И вдруг она бросилась передо мной на колени с криком:

– Я не хочу! Не хочу!

Потом поднялась и спросила лихорадочно:

– Где здесь судьи? Я еще не все сказала!

И я испугался – а вдруг узнала? Уже наступило страшное время, и достаточно ей было рассказать про нашу связь – я тотчас был бы объявлен пособником врагов Республики. И конец!

Пришли судьи. Я с тревогой вслушивался в ее сбивчивую речь... Но она сообщила лишь о каких-то жалких двух бриллиантах, которые ей удалось спрятать. Несчастливая тянула время! И судьи сурово сказали ей, что она разоряла французскую казну, заставляя покойного короля тратить на нее народные деньги; упомянули о каком-то заговоре, который она возглавляла (тогда уже всех обвиняли в заговорах – это было самое употребительное слово); и заявили, что ей предоставлена народом великая милость – кровью искупить свои преступления.

Этими судьями были граждане Денизо и Руайе. С ними пришли еще два депутата Конвента. Пришли поглазеть на когда-то всемогущую красавицу – как она будет умирать!

Кстати, с Денизо и Руайе я тоже встречусь на эшафоте. В той же канцелярии я приготавливаю их к смерти, теми же ножницами отрежу волосы и повезу на той же телеге, что и мою маленькую Дюбарри...

Я велел помощникам начинать готовить ее. С искаженным, ставшим таким безобразным лицом, она боролась с ними. Трое держали ее, пока четвертый срезал роскошные волосы, готовя ее к объятьям гильотины.

Потом я взял с собой несколько локонов и долго вспоминал запах ее волос, запах моей юности...

Наконец она впала в забытие и позволила связать себе руки. Только горько плакала, все время плакала... Я посадил ее на свою телегу, сел впереди и всю дорогу не оборачивался: боялся – узнает! И всю дорогу – горькие рыдания, каких я не слышал никогда в жизни. А я знаю в этом толк – много было рыданий в этой телеге!

Все улицы были заполнены народом, и наши славные патриоты кричали: «Да здравствует Республика! Смерть королевской шлюхе!» – и приветствовали меня, славного Шарло, который так ловко отправляет на небеса врагов Республики.

Мне было приказано казнить ее последней, чтобы она испытала весь ужас ожидания смерти. Но двадцать лет назад я сказал ей правду – теперь я ей пригодился! При виде гильотины она упала в обморок, и я тотчас велел нести ее на эшафот – первой! Однако она немедленно пришла в себя, стала отбиваться, и все обращалась ко мне, все кричала:

– Минуточку, еще только одну минуточку, господин палач!

Мы встретились глазами, и в этот миг, клянусь, она меня узнала! И тогда я приказал помощникам – быстрее! Она продолжала сражаться с ними, пока они торопливо привязывали ее к доске. И все кричала, все молила меня:

– Минуточку, господин палач, еще одну минуточку!.. Я дернул за веревку – все было кончено!

Был обычай – показывать отрубленную голову народу. Но я не мог поднять эту голову, которую целовал когда-то... И вот юнец в красном колпаке выскочил на эшафот и потребовал показать ее голову!

Народ грозно гудел. Я предложил юнцу помочь мне – сделать это самому, если он, конечно, не боится крови. Он прокричал в толпу, что кровь врагов народа доставляет ему только радость! И народ аплодировал ему.

Я попросил его открыть кожаную крышку ящика, куда скатывались головы несчастных. Мне показалось, что он побледнел... Но наклонился, достал голову, подошел к краю эшафота и... рухнул вместе с ее головой! Она катилась по помосту, а он лежал без движения. Доктор потом сказал, что его сразил апоплексический удар.

Я так и не знаю до сих пор, что его убило – ужас или то, что происходило в те мгновенья в душе моей...

Я был хорошим патриотом, но что-то во мне изменилось. Да и не только во мне. Отошли от Революции многие благородные люди, но она уже выбрала себе новых кумиров. Теперь власть колебалась между двумя партиями, готовыми уничтожить друг друга...

Каждый день я наблюдал кровавое бешенство толпы. Люди сходили с ума от ненависти, они будто лакомились кровью, их жажда казней перешла всяческие границы. И я мог легко предсказать: победит та партия, которая лучше сумеет угодить этой всеобщей ненависти против прежних богачей.

С эшафота будущее видится достаточно ясно. Я увидел его еще до казни несчастной Дюбарри. Жирондисты (умеренная партия) должны были проиграть. Впрочем, такого легкомысленного слова, как «проиграть», Революция не принимает. Только одно слово признает она – «умереть».

Появилась новая профессия – ненавистник. Это были одни и те же люди. Утром я их видел в Конвенте, где они аплодировали кровожадным речам ораторов, а по вечерам они сами произносили не менее кровожадные речи в клубах. Они же стояли в первых рядах около моей гильотины – с вечно раскрытыми ртами для проклятий и революционных песен. Именно тогда я обратил внимание, как изменились за это время их лица – особенно у женщин. От вечных гримас ненависти, от постоянных криков ярости у них стали лица фурий!

Помню, 10 августа (в годовщину штурма королевского дворца) я открыл окно, чтобы освежить воздух, и увидел молодого человека, сопровождаемого пляшущей и распеваящей песни толпой. Он нес на палке... человеческую голову!

Теперь они устраивают самосуды повсюду. Вид толпы, вздернувшей на пики головы аристократов и орущей при этом «Да здравствует Республика!», давно уже никого не удивляет.

Ненавистники правят толпами, ибо Революция – это буря, и в ней действует закон пены, непременно выплывающей наверх!

Вопрос о судьбе короля был лишь предлогом в борьбе за власть между партиями. Жирондисты решили уступить народной кровожадности – и голосовать за смерть короля.

11 декабря несчастный король предстал перед судом Конвента. Впрочем, судьба его была решена еще до суда.

Верно сказал его защитник:

– Я ищу среди вас судей, а вижу лишь одних обвинителей. И верно сказал обвинитель:

– Это процесс целой нации против одного человека.

Его убийство хотели сделать символом. «Казнь короля должна укрепить народную свободу и спокойствие... Призрак должен исчезнуть». Это были слова Робеспьера. И 18 января жирондист Верньо, которому выпало в тот день председательствовать в Конвенте, огласил приговор.

Скоро, скоро я повезу на гильотину и Верньо... Но пока пришла очередь короля.

Король попросил отсрочить казнь – они ему отказали, позволили лишь проститься с семейством и отправиться к эшафоту в карете со священником.

Казнь была назначена на 20 января. Вечером 19-го я получил приказ: за ночь поставить эшафот и ожидать осужденного к восьми утра.

Были приняты невиданные меры предосторожности – даже мне, вопреки обычаю, не разрешили сопровождать короля на казнь.

Накануне в почтовом ящике я нашел множество писем. В одних говорилось, что короля освободят по дороге из Тампля на площадь Революции, и меня грозились убить, если я окажу сопротивление заговорщикам. В других письмах меня умоляли затянуть казнь, чтобы дать возможность решительным людям пробиться к эшафоту и увезти короля.

В то время уже работало множество шпионов, и письма граждан вскрывались. Так что я почел за лучшее отнести эти послания в Комитет Общественного Спасения.

Но один молодой человек пришел в мой дом и умолял принести ему одежду короля. Он надеялся в толпе поменяться с ним местами. Я назвал его безумцем и выгнал. Пришлось сообщить в Комитет и о нем. Надеюсь, я не навредил этому юноше – я ведь не знал его имени...

Печальное совпадение: 20 января – годовщина моей свадьбы, и в этот же день я должен был обручить короля с гильотиной. Моя бедная жена убрала все приготовленные яства, и всю ночь мы провели в молитве.

Все-таки король! Помазанник Божий!

Я хорошо помнил его презрение, его отвращение ко мне – тогда, в Версале. Он даже не глядел на меня! Теперь ему предстояло в последний час быть рядом со мной. Если бы кто-то шепнул ему об этом на ухо во время того нашего свидания!

На рассвете загремели барабаны – каждый округ должен был направить батальон национальной гвардии для охраны воздвигнутого ночью эшафота. Мой сын в составе одного из батальонов отправился на площадь. Товарищи смотрели на него с уважением. Еще бы – сын палача и сам будущий палач, которому предстоит убивать врагов Республики.

Пора было и мне на площадь. Но не так-то легко идти казнить короля.

Меня бил озноб, и я почему-то шептал: «Жертва принесена!»

В семь часов утра мы с братьями (палачами Руана, Орлеана и Дижона, приехавшими помочь мне в этот исторический день) сели в фиакр. Но улицы были до того запружены народом, что только около девяти мы добрались до площади Революции.

Когда-то эта площадь носила имя его отца – Людовика XV. Это было всего несколько лет назад, но теперь казалось – прошла целая вечность. Ибо с тех пор ушел целый мир.

Итак, мы приехали на площадь, заполненную народом – тысячами людей. Я и братья были вооружены – под плащами у каждого, кроме шпаг, было по кинжалу, по пистолету, и карманы набиты пулями.

Эшафот был окружен национальными гвардейцами и жандармами. Батальон марсельцев пришел с пушками и навел их на гильотину. Все были уверены, что короля попытаются освободить, но... никакой попытки не было.

С эшафота я увидел, как со стороны церкви показалась карета, окруженная двойным строем кавалеристов. Карета подъехала. Король сидел сзади, рядом с ним священник.

Людовик вышел из кареты. Народ, теснившийся за кольцом войск, замолчал. Только грохот барабанов!

Он узнал меня и кивнул – так началась наша третья встреча.

Мой брат, руанский палач, подошел к королю и, обнажив голову, попросил «гражданина Капета» снять камзол и позволить связать себе руки. И тут началось – король возмутился и отказался. Брат сказал, что придется применить силу, и двое других моих братьев приблизились к королю.

– Вы осмелитесь поднять на меня руку? – спросил Людовик.

– Вы не в Версале, гражданин Капет. Вы у ступеней эшафота. Положение спас священник. Он сказал:

– Уступите, Ваше Величество, и вы пойдете по стопам Христа. Он вознаградит вас.

И тогда король молча протянул руки. Я осторожно связал их, не причинив ему боли. Но на этот раз мы поменялись местами – теперь я старался не глядеть ему в глаза...

Священник дал ему приложиться к Образу Спасителя.

И король поднялся ко мне – на эшафот.

– Пусть смолкнут барабаны! – Он повелительно поднял связанные руки.

К моему изумлению, барабанщики выполнили его приказ! Людовик обратился к толпе:

– Французы, вы видите – ваш король собрался умереть за вас. Пусть же моя кровь прольется для вашего счастья. Я умираю невинным...

Ему не дали договорить. Раздались команды, и вновь загремели барабаны. Король пытался еще что-то сказать, но не смог. В одно мгновение мы привязали его к доске. И лезвие гильотины полетело на его голову...

– Отойди в лоно Господа Бога, сын Святого Людовика, – только и прошептал священник.

Всю ночь я не спал – ходил по комнате.

С тех пор картина казни стоит передо мной даже во сне. Все двадцать лет я вижу ее... вижу, как удалялась телега с обезглавленным телом...

Тело короля было брошено в яму с негашеной известью на кладбище у церкви Мадлен. Я нашел священника и тайно отслужил заупокойную мессу.

После казни короля – началось! Люди сделались будто безумными. Теперь постоянное пролитие крови стало странной потребностью. Началась новая эра – эра крови, и разверзлась бездонная яма, в которой все они исчезнут. Все, погубившие его...

Со времени казни Людовика гильотина уже не снималась с площади Революции. И две красные балки – кровавые балки! – с висящим топором грозили городу.

Покойный король помогал умирать своим подданным. Я помню дворянина из Пуату, которому я рубил голову. Когда телега остановилась у эшафота, он спросил меня:

– Та ли это гильотина?

Я понял, о чем он спрашивает.

– Та самая. Переменили только лезвие.

И тогда он счастливо улыбнулся, радостно взошел на эшафот, встал на колени и поцеловал то место, где пролилась кровь короля.

Этот дворянин был эмигрантом, рискнувшим вернуться во Францию провести свою любовницу. Он был и первой жертвой, которую я обезглавил по решению недавно созданного Революционного Трибунала.

Голод, наступление армий неприятеля и ужас перед грядущей расправой заставили друзей Республики сплотиться. Ораторы в Конвенте обещали народу: уничтожение врагов Равенства избавит от всех бед. Террор необходимо усилить!

Так был создан Революционный Трибунал.

Неистовый Шометт, Генеральный прокурор Парижской Коммуны, под пение и яростные вопли, сотрясавшие древние стены Ратуши, кричал в толпу:

– Мы принесем в жертву всех злодеев! И только тогда покой и благоденствие воцарятся в торжествующей Республике!

Я явился на первое заседание Трибунала. Зал был декорирован в суровом духе столь любимого нашей Революцией республиканского Рима. Судьи сидели в креслах, обитых кроваво-красным бархатом, на фоне бюста Брута, вдоль стен, разрисованных античными символами – пучками дикторских прутьев и красными фригийскими колпаками.

Конечно, я присутствовал при избрании Конвентом этих новых революционных судей, которые теперь «не были стеснены никакими формами при производстве дел» и могли «употреблять все возможные средства при изобличении преступников». Отныне «приговор мог оглашаться в отсутствие обвиняемого и обжалованию не подлежал», а «все преступления против общественной безопасности передавались в Трибунал».

В Трибунале заправлял общественный обвинитель Фукье-Тенвиль. Он был сух, бесстрастен и признавал только одно наказание – смерть.

Я понял: мне предстоит невиданная работа. И оказался прав. Огрызавшаяся террором Республика отправит на тот свет больше людей, чем все мои предки-палачи, вместе взятые.

Я хорошо подготовился. Старая гильотина была снята, поставлена новая, куда я внес некоторые усовершенствования, чтобы можно было производить больше казней.

Удобное (в двух шагах от площади Революции) кладбище у церкви Магдалины, куда свозились жертвы гильотины (и где лежал обезглавленный король), было переполнено.

Уже думали о новом кладбище...

И именно в это время один из отцов террора – Марат – был убит ударом кинжала.

В последнее время Марат поднялся необыкновенно. На очередном революционном празднике я видел, как толпа внесла его в Конвент в венке триумфатора. Это был настоящий «друг гильотины». Когда он меня встречал, всегда здоровался с подчеркнутым почтением.

Толпа его обожала, ибо не было его кровожаднее. Он истово ненавидел умеренность, восхвалял массовые казни и провозглашал: «Смерть каждого аристократа приближает наше радостное будущее!» Его имя повторялось народом при всех убийствах и насилиях, затмив имена Дантона и Робеспьера...

В те дни Марат был болен. Омерзительные струпья на его теле воспалились, и он несколько дней отсутствовал в Конвенте. Стараясь унять нестерпимый зуд, он сидел в теплой ванне.

Я был у него – ванна была покрыта грязным сукном, поперек лежала доска, на которой он писал. В ванне он и принимал посетителей.

Шарлотта Корде, девушка из провинции, сообщила ему, что хочет раскрыть заговор врагов Республики. И он ее принял.

Подойдя к ванне, она вонзила нож в грудь Марату.

«17 июня Первого года единой и нераздельной Республики» я получил приговор о казни Шарлотты Корде и, кликнув помощника, отправился в комнату осужденной. Я увидел молодую красавицу. Она сидела за столом и что-то писала. Ее восхитительные светло-каштановые волосы были распущены, она с усмешкой потрянула ими:

– Я приготовила их для вас, господи!

Мы молча ждали, пока она закончит писать.

Это было ее предсмертное письмо. Она была потомницей Марии Корнель, сестры автора бессмертного «Сида». И, клянусь, великий Корнель был бы горд предсмертным творением своей родственницы. (Я передал письмо секретарю Трибунала, но перед этим, разумеется, прочел его.)

Шарлотта писала, с каким энтузиазмом разделяла она «великие принципы Революции», как «ненавидела ее крайности». Писала о том, что имя Марата, «который по трупам поверженных жирондистов шел к власти, позорило род человеческий», о том, что он «непременно разжег бы гражданскую войну своими крайностями», а теперь «в любимой ею Республике будет царствовать мир». Она «с радостью отправлялась на небо, надеясь встретить там Брута и других мучеников, пожертвовавших жизнью во имя Свободы»...

Я велел помощнику отрезать ее роскошные волосы, затем подал ей красную рубашку, в которую перед казнью обряжали отцеубийц. Она ее надела.

Нужно было связать ей руки, и я увидел на них кровавые ссадины – следы ударов. Когда ее схватили у ванны Марата, ее били... Она со смехом предложила надеть перчатки.

Обошлись без перчаток. Я умею связывать женские руки и, клянусь, не причинил ей боли.

Наконец мы уселись в позорную телегу. Я приготовил для нее кресло. Она отказалась.

– Вы непредусмотрительны, в телеге трясет.

– Это ведь не очень надолго... – Она улыбнулась и осталась стоять, держась за край телеги. Я поставил перед ней стул, чтобы она могла опираться на него коленом.

Шел дождь, но улицы были заполнены толпой. Оскорбления и грозные выкрики сопровождали ее всю дорогу. Но, осыпаемая проклятьями, она гордо стояла в телеге.

- Народ любил Марата, - сказал я.

- Народ часто любит чудовищ. Но я надеюсь, что эта нынешняя любовь будет недолгой.

Мы были уже на улице Сент-Оноре, совсем недалеко от площади Революции. Здесь в одном из домов жил Робеспьер. Каково же было мое удивление, когда я увидел в раскрытом окне его квартиры трех депутатов Конвента, трех сподвижников - Камилла Демулена, Дантона и самого Робеспьера. Они глазели на приговоренную.

Скоро, скоро повезет и их моя добрая тележка...

А пока они о чем-то говорили и смеялись. И смотрели сверху на Шарлотту. Я и сам смотрел на нее во все глаза - так поразительна была ее красота. Но еще поразительней был ее гордый и невозмутимый вид. Она хранила его все время, пока мы ехали среди рева, проклятий и оскорблений.

Когда мы оказались на площади Революции, я попытался заслонить от нее гильотину. Она засмеялась:

- Нет-нет, я давно хотела ее увидеть. В нашем маленьком городке много о ней говорили, но я никогда ее не видела...

Она бросилась на доску с каким-то исступлением - как в постель к возлюбленному. Я дернул за веревку, и гильотина сделала свое дело.

Потом один из моих помощников поднял ее прекрасную голову и показал ее народу. И... ударил голову по щеке. И щека покраснела.

И толпа - вечно кровожадная толпа - зароптала.

16 сентября – день самый примечательный. До этого дня я казнил только врагов Республики. И вот 16 сентября на эшафот взошел известный революционер, журналист Горза. Он был первым членом Конвента, которого я познакомил с гильотиной. Его преступление состояло в том, что он принадлежал к партии Жиронды. Он был истинным республиканцем, голосовал за смерть короля... Но теперь они уже начали пожирать друг друга. Кстати, этот Горза когда-то голосовал против уравнивания палачей в правах с другими гражданами. Он почему-то невзлюбил меня и однажды даже пытался обвинить в симпатиях к королевской власти.

Увидев меня у эшафота, он крикнул:

– Радуйся, Сансон, насладись своим триумфом! Мы хотели ниспровергнуть монархию, а основали новое царство – твое!

Каждый раз, являясь в Консьержери, я проходил мимо заржавленной двери камеры, в которой сидела одна из прекраснейших женщин Европы – королева французов.

После казни короля о его семье, казалось, забыли. Однако Революцию можно упрекнуть в рассеянности, но в беспамятстве – никогда!

Все сильнее становились самые жестокие. Жестокость и непреклонность стали залогом победы в борьбе за власть, а кровь – постоянной ценой поражения.

В этом соревновании в свирепости революционных партий королева была обречена. В июле у нее отняли сына. 2 августа ей огласили декрет о предании ее суду.

Жандарм, присутствовавший при этом, рассказывал мне: она выслушала декрет, связала в узелок вещи, поручила дочерей принцессе Елизавете и отправилась за чиновником. Она еще не научилась наклонять голову и, входя в камеру Консьержери, расшибла в кровь лоб о низкую притолоку.

Я видел ее в этой камере – она была перегорожена надвое. В одной ее части постоянно находились жандармы, в другой, за ширмами, жила теперь королева французов. Я не любил королеву, но я не мог не пожалеть прекрасную женщину.

11 октября я узнал, что Комитет Общественного Спасения начал допросы «вдовы Капет Марии Антуанетты, именовавшей себя Лотарингско-Австрийской», обвиняемой в заговоре против Франции.

Конечно, я присутствовал на суде. Королеве было тридцать семь лет, но тюрьма и страдания превратили красавицу в старуху. Поседевшие волосы, глубокие морщины на лбу, складки вокруг губ... Но и в черном платье вдовы (бывшая повелительница Франции, дочь императора и жена короля штопала его всю ночь) она была по-прежнему горда и надменна. Она осталась королевой. Ее обвиняли во всем: начиная с того, что она немилосердно транжирила деньги, принадлежащие народу Франции, и устроила голод в стране, и, кончая чудовищным – будто она склоняла к прелюбодеянию собственного сына.

Общественный обвинитель Фукье-Тенвиль монотонно и бесстрастно потребовал приговорить ее к смертной казни. И ее приговорили – под овацию зала.

Заседания шли с девяти утра до десяти вечера. Королеву мучили голод и жажда. Но я помню, как жандарм, подавший ей стакан воды, должен был испуганно оправдываться! Таково было настроение толпы. Под ее радостные крики королева покинула зал, приговоренная к встрече со мной.

А я, потомок презренных палачей, пошел готовиться принять вторую королевскую голову. Гордую голову красавицы королевы.

Впоследствии секретарь Трибунала рассказывал мне, как, придя после приговора в камеру, она бросилась, обессиленная, на кровать и час спала мертвым сном, а проснувшись, попросила письменные принадлежности и написала письмо принцессе Елизавете. Оно было передано Фукье-Тенвилю, и, кажется, он переслал его в Комитет Общественного Спасения. Одно знаю точно: бедная Елизавета никогда его не прочла...

Фукье как раз читал это письмо вслух судье Дюма, когда я пришел за приказом. Оно меня поразило, и я, выйдя, записал для потомства несколько строчек,

которые мне удалось запомнить:

«Меня только что приговорили к тому, чтобы я соединилась с Вашим братом. Я надеюсь умереть с таким же присутствием духа, как и он... Ужасно, что Вы пожертвовали всем, чтобы остаться с нами, а я оставляю Вас в таком страшном положении... Я прошу моего сына никогда не забывать последних слов своего отца, которые я столько раз ему повторяла. Вот эти слова: «Пусть сын мой никогда не будет стараться отомстить за мою смерть». Напоминайте их ему чаще, дорогая... Боже мой, как тяжело расставаться с Вами навсегда! Прощайте, прощайте, прощайте!»

В приказе, который я получил, было сказано, что казнь состоится завтра утром. Я спросил Фукье-Тенвиля:

- Когда выдадут закрытый экипаж?

Он подумал, не ответил и вышел из комнаты. Я понял – отправился совещаться с Робеспьером. Он умел служить начальству... Вернувшись, Фукье объявил:

- Преступница королева ничем не должна отличаться от преступницы обычной, и ее следует везти в обычной позорной телеге.

Вот так!

Все повторилось, как при казни ее несчастного мужа. Целую ночь моя бедная богобоязненная жена молилась. И я не спал и молился. Второй раз проливать царственную кровь!

И во время молитвы в голове моей вдруг кощунственно зазвучали слова казненного Горзы: «Мы основали новое царство – твое»...

Я – их новый король? Смешно, граждане!

В пять утра уже гремели барабаны, призывающие к оружию национальных гвардейцев. Я отправился на площадь Революции – проверил страшный аппарат.

В десять утра я и мой сын (он теперь часто помогал мне на эшафоте) пришли в Консьержери. Тюрьма была окружена вооруженной охраной. Секретарь Революционного Трибунала Напье, который должен был присутствовать при казни, давась от смеха, рассказал мне, как королева всю ночь подшивала и гладила белое платье – «готовилась к свиданию с матушкой гильотиной».

Королеве, этой законодательнице мод, Робеспьер позволил иметь в тюрьме только два платья – черное и белое. Черное износилось совершенно, но она сохранила белое. Видно, уже думала, что оно понадобится ей для ее последнего выхода...

Камера, где Робеспьер проведет свою последнюю ночь перед гильотиной, будет совсем рядом с камерой королевы.

Я нашел королеву в комнатке, куда перед казнью приводили смертников. Она была в белом платье, и плечи ее были прикрыты белой косынкой. На голове, помню, был чепчик с черными лентами.

В полумраке комнаты она вновь была прекрасна.

Увидев меня и моего сына, она все поняла, встала и сказала:

– Все в порядке, господа, мы можем ехать.

– Нужны некоторые предварительные меры... – сказал я.

Она молча повернула голову, и я увидел: волосы у нее уже были обрезаны. О предусмотрительная королева!

Все так же молча она протянула мне руки. Я ловко и совсем не больно связал их. Вот так человек из презренного рода Сансонов прикоснулся к руке королевы...

Выйдя во двор, она увидела мою телегу и побледнела. Она ожидала увидеть карету. Что ж, в первый и последний раз королеве придется ехать в телеге. В этом революционном экипаже!

Любопытно: в сентябре я казнил того самого Казота, о пророчестве которого так много говорили лет двадцать назад. По пути у нас состоялся разговор, точнее, мы обменялись несколькими фразами, когда уже въезжали на площадь (все остальное время, пока мы ехали, он не отрывал головы от молитвенника). Но, увидев на площади гильотину, он усмехнулся и сказал:

- Сбылось! Значит, ты и вправду повезешь ее в позорной телеге. Печально!

И пошел на эшафот...

...Я подал ей табурет, чтобы она могла взойти в телегу.

Раскрылись ворота, и телега вывезла королеву Франции к народу Франции – тысячам вопящих проклятия людей.

Ругательства и угрозы сопровождали нас в этом долгом пути. Долгом потому, что лошади едва двигались в людском море.

Всю дорогу она простояла в телеге, спокойно и величаво снося выкрики толпы: «Смерть австрийскому отродью! Смерть коронованной б...!»

Жандармы давали возможность людям из толпы прорываться к телеге, и тогда лошади становились на дыбы, а ненавистники тыкали кулаками в лицо своей вчерашней повелительнице.

Перекрикивая неистовые вопли народа, я сделал резкое замечание охране. Но несмотря на мой тогдашний авторитет, они меня не послушали. Видно, у них было другое распоряжение.

Что ж, королева испила свою чашу до дна – с достоинством, не бледнея.

Мы ехали по улице Сент-Оноре... И я заметил: по мере приближения к площади, она стала напряженно всматриваться в верхние окна домов. Я забеспокоился – не задумала ли она чего? И стал следить за ее взглядом.

Вскоре в одном из окон я увидел аббата – он жестом отпустил ей грехи. Тогда она облегченно вздохнула и даже чуть улыбнулась. Видимо, через кого-то она сумела условиться со священником, и он проводил ее в последний путь.

Более она не поднимала головы. А зря! В окне дома Робеспьера я увидел уже знакомую картину: они опять стояли втроем – Дантон, Камилл Демулен и Робеспьер. И опять оживленно переговаривались...

На площади Революции телега остановилась прямо против главной аллеи Тюильри – и она вздохнула, видно, что-то вспомнила. Я и мой сын поддержали ее, когда она сходила с телеги. Легкой походкой, быстро и величаво, взошла королева на эшафот...

Потом сын рассказал мне: когда он привязывал ее к страшной доске, то услышал ее последние слова: «Прощайте, дети, я иду к Отцу...»

Доску с привязанной королевой положили на место, я дернул за веревку – и загремела гильотина!

Кто-то из помощников торжественно поднял голову королевы и под восторженные вопли народа пошел с ней вдоль эшафота. Люди готовили платки, чтобы омочить их в царственной крови. Так было и при казни короля – тогда произошла такая давка!

И вдруг (я думаю, от посмертного сокращения мышц) глаза королевы открылись. Голова взглянула на толпу!

И толпа замерла в ужасе. Впервые с тех пор, как поставили гильотину, толпа безмолвствовала...

Тело вдовы Капет, залитое негашеной известью, отправили также на кладбище Мадлен.

Вещи ее мы отдали в богадельню.

Кстати, секретарь Трибунала Напье сделал мне замечание – будто я не сам привел в движение топор, а поручил это сделать помощнику. Это было не так, но я не стал оправдываться, а лишь сурово сказал:

– Я распоряжаюсь на эшафоте. И все, что там происходит, – мое дело! И он замолчал.

Пусть отвыкают приказывать! Палач (спасибо нашей Революции!) теперь уважаемая и самостоятельная фигура. Что бы они делали без палача!

Когда Напье уходил, я позволил себе пошутить:

– Если, не дай Бог, нам придется встретиться на эшафоте, гражданин Напье, поверьте, я непременно учту ваше замечание.

Он побледнел.

А ведь пришлось – и я дернул за веревку над его головой...

После казни королевы последовало множество казней роялистов. Но в то же время революционные партии не забывали и друг про друга.

Два десятка жирондистов, знаменитых революционеров, чьи имена сияли в истории нашей Республики, были арестованы и приговорены к смерти. Тогда Камилл Демулен, Дантон и Робеспьер объединились с «бешеными» революционерами из Парижской Коммуны – Шометтом, Эбером и прочими наследниками Марата. Они считали, что жирондисты слишком умеренны и мешают Революции двигаться вперед.

Жирондисты должны были стать жертвами во имя высших целей Республики. Я не совсем понимал теоретические выкладки, но уже знал твердо: все эти красивые слова скрывают лишь одно – борьбу за власть.

Процесс жирондистов, понятно, шел медленно – все они были знаменитыми ораторами, а обвинения против них были самые вздорные.

Фукье-Тенвиль (человек услужливый, но весьма средних способностей) буквально изнемог в борьбе с ними...

Проблему решили просто – Трибунал обратился в Конвент с предложением: в связи с тем, что «общественное мнение Франции уже осудило этих изменников делу Революции... а между тем Трибунал ничего не может сделать с ними и тратит время на формальности, предписанные законом... Конвент должен освободить Трибунал от соблюдения этих пустых судебных формальностей, присущих старому строю».

И уже вскоре легендарные деятели Революции – Бриссо, Верньо и еще два десятка знаменитых республиканцев – за два десятка минут были отправлены на гильотину их вчерашними сотоварищами.

Я пришел в Консьержери и застал всю компанию осужденных в комнате смертников. Стоя группами, они оживленно беседовали – как беседуют друзья перед разлукой, перед дальней дорогой...

Они без сопротивления (но с ироническими шутками) дали нам совершить их предсмертный туалет – я остриг их, мой помощник связал им руки.

А они шутили...

Ирония действительно была: на пяти телегах я вез их сквозь густую толпу, проклинавшую их, горланившую революционные песни и кричавшую: «Да здравствует Республика!» И они – в телегах – пели те же революционные песни и кричали: «Да здравствует Республика!»

Один из моих помощников, Жако, надел костюм паяца и выделял разные непристойные выходки против осужденных – на потеху толпе. Человек он был гнусный, и выходки его были недостойные, но судьба действительно смеялась над несчастными. И дьявол, видать, веселился, как этот паяц.

Когда мы проезжали по улице Сент-Оноре, в окне знакомого дома я увидел знакомую троицу: Дантона, Робеспьера и Демулена. На этот раз они молчали, странно-одинаково скрестив руки на груди.

Многотысячная толпа на площади Революции пела «Марсельезу», пока эти революционеры, также с пением «Марсельезы», по очереди поднимались на эшафот и складывали свои головы в кожаный ящик.

Я распорядился ходом казни – хлопот было много. Один из помощников держал веревку блока и по моему знаку опускал лезвие гильотины. Доска была залита кровью (все-таки два десятка человек!), и ложиться на нее было отвратительно.

Я приказал помощникам взять по ведру воды и отмывать ее после каждой жертвы... Мне понадобилось сорок минут, чтобы Республика лишилась своих основателей. Трупы укладывались в ящики попарно.

Помню, Верньо был предпоследним. И этот Верньо, еще недавно председательствовавший в Национальном собрании, насмешливо сказал секретарю Трибунала Напье, вызывавшему осужденных на эшафот:

– Революция, как Сатурн, пожирает своих детей! Берегитесь, боги жаждут!

На другой день после казни жирондистов Фукье-Тенвиль грубо спросил меня, почему я избегаю сам дергать за веревку, приводящую в движение лезвие гильотины. (Напье, конечно, донес!)

Я ответил (так же резко), что времена, когда рубили мечом, прошли и теперь самое важное для палача – распорядиться порядком на эшафоте. При таком обилии жертв это нелегко, поэтому я прошу оставить за мною право все самому

решать на моем эшафоте!

Террор становится нашим бытом. Теперь что ни день – новая знаменитая жертва.

Вчера я казнил герцога Луи Филиппа Жозефа Орлеанского. Принц крови, всем сердцем принявший Революцию, именовался «Гражданин Эгалите»[1 - Egalite – равенство (??.)]. (Это прозвище, данное ему благодарным народом, и стало его именем. И дворец его называли теперь «Пале-Эгалите».)

Еще недавно он подал голос за смерть короля, еще недавно он сражался вместе с Робеспьером против жирондистов! Но сейчас он уже компрометировал бывших союзников, и они поспешили от него избавиться, обвинив его... в сотрудничестве с его главными врагами – жирондистами!

Герцог даже воскликнул после речи Фулье-Тенвиля:

– Все это, право, похоже на шутку!

Но шутка закончилась смертным приговором. Герцог все понял и попросил не затягивать казнь. Его просьбу исполнили – уже днем я пришел с моими ножницами стричь еще одну царственную голову.

Герцог с аппетитом уплетал устрицы и цыпленка – он сохранил присутствие духа.

Вместе с ним осудили еще нескольких особ из бывших аристократов (принадлежность к дворянству теперь почти автоматически равняется смертному приговору). Один из них был граф Ларок. Когда я направился к нему с ножницами, он расхохотался и снял парик с абсолютно лысой головы...

Около четырех часов дня наш поезд из нескольких телег выехал из ворот Консьержери. Герцог, естественно, был в моей телеге.

Начальник конвоя по приказу Робеспьера велел остановить телегу у дворца герцога. Там уже поспешили повесить вывеску: «Народная собственность»...

Герцог с презрением отвернулся.

Он взошел на эшафот последним – и толпа, еще три года назад носившая его бюст, увенчанный лавровым венком, свистела и неистово проклинала его (впрочем, как и сотоварищи по телеге во время пути на гильотину – все они были верными роялистами).

Мой помощник снял с него фрак. Герцог насмешливо посмотрел на свистящую толпу и спокойно лег на залитую кровью доску.

Когда я показал людям его голову, они стали неистово рукоплескать и петь! (Пройдет несколько десятков лет, и их сыновья возложат корону на голову сына Гражданина Эгалите. – Э.Р.)

Не забываем и дам. Вчера вместе с несколькими роялистами (теперь обычно казним целыми партиями) гильотинировали знаменитую госпожу Ролан – хозяйку салона, где собирались жирондисты. Выслушав смертный приговор, она сказала с улыбкой:

– Благодарю судей за то, что они сочли меня достойной разделить участь замученных ими великих людей...

Статуя Свободы, воздвигнутая на площади Революции, стояла как раз напротив моего эшафота. Поднимаясь по лестнице, госпожа Ролан склонила голову перед статуей и воскликнула:

– Свобода, они забрызгали тебя кровью!

Это звучало бы слишком патетично, если бы не было правдой: я действительно видел на статуе брызги крови...

Смерть госпожа Ролан приняла бесстрашно. Под счастливые аплодисменты толпы я поднял ее голову за остатки роскошных волос.

На следующий день я отправился на площадь Революции с двумя телегами. Но на этот раз (редчайший случай!) со мной не было знаменитостей, которым следовало оказывать честь – предоставлять отдельную телегу. Так что всех девятерых осужденных я отлично разместил в этих двух телегах. Среди них были мать с сыном. И мать всю дорогу доказывала мне, что Республика должна удовлетвориться одной ее головой.

– Ведь они его непременно помилуют, не правда ли? – все спрашивала она меня и обнимала сына.

Ему было двадцать три года...

Казнен известный депутат Конвента жирондист Ноэль. Ступив на эшафот, он поинтересовался:

– Хорошо ли вытерли нож гильотины после казни Дюбарри? Негоже мешать кровь продажной королевской девки с кровью честного республиканца!

Я заверил его, что нож чистый.

Сегодня казнены пятеро публичных женщин, и множество других «веселых особ» ждут своего часа в Консьержери. Таково новое предписание Генерального прокурора Парижской Коммуны Шометта. Теперь считается, что, портя нравы, они помогают врагам Республики. Решено очистить наши нравы при помощи гильотины.

Недавно в Конвенте я встретил одного депутата-журналиста (кажется, его звали Дюфруа). Увидев меня, он обратился к друзьям, шедшим рядом с ним:

– Вот самый полезный деятель Республики! Как он бреет аристократов своим славным ножом! Тебе приходится много трудиться, друг Сансон! Но ничего: если у тебя много работы – дела Республики идут на лад!

Всего через два месяца после этой встречи мне пришлось потрудиться и над его головой.

Все чаще казним генералов. В Конвенте не хотят понять, что и революционные солдаты могут терпеть поражения, поэтому наши неудачи решили объяснять изменой военачальников.

Сегодня я казнил одного из самых храбрых наших генералов – Бирона. Когда я пришел в Консьержери, я застал его кушающим устрицы.

– Позволишь ли доесть эту последнюю дюжину? – спросил он меня.

– Не торопитесь, генерал.

Я подождал, пока он доел, и тогда сказал:

– К вашим услугам, генерал. И вынул ножницы.

– О нет, братец, к сожалению, сегодня – я к твоим услугам! – ответил он. И расхохотался.

Забавно: в прежние времена одно мое появление в тюрьме вызывало ужас. Теперь оно все чаще вызывает улыбку, даже шутки! Смерть стала слишком обычной... Никогда на моей памяти равнодушие к жизни не доходило до такого: осужденные едят, пьют, сочиняют куплеты – и все это накануне смерти!

Сразу после Бирона я казнил некоего Луи Робена, который приклеил к стене церкви следующую прокламацию: «Предшествующее десятилетие ознаменовалось смертью Людовика, прозванного «тираном» нашими революционерами. Наступающее десятилетие породит сотни будущих тиранов. Долой революционные клубы! Истинный народ никогда не откажется от веры в Бога!»

В телеге, где ехали восемь осужденных, он мне сказал:

– Бог, позволивший тебе казнить короля, возложил на тебя обязанность казнить и всех похитителей его власти. И только потом Он покарает и тебя самого...

Я это запомнил.

Казни каждый день. Много казней.

Сегодня я обезглавил графа де Лэгли, а вместе с ним Агнессу Розалию Ларошфуко и еще двенадцать знатнейших «бывших», обвиненных в заговоре...

На следующем заседании Трибунала было вынесено восемнадцать приговоров. Я вез осужденных под проливным дождем, набив их в четыре телеги. Больше телег не дали. Толпа, которую величают народом, осталась довольна количеством жертв – не зря она мокла под проливным дождем!

Были арестованы «бешеные» – неистовые революционеры из городской Коммуны. За то, что они непримиримые и оттого хотели увести Революцию с ее истинного пути, который известен одному Робеспьеру.

Понадобилось множество телег, когда большая компания «бешеных» отправилась на гильотину.

Фукье-Тенвиль, не моргнув глазом, обвинил своих бывших сподвижников и друзей – прокурора Шометта, его заместителя Эбера и прочих революционеров – в измене и заговоре.

Во время заседания Трибунала один из самых яростных, помешанный на крови Анахарсис Клоотц сказал:

– Будет очень странно, если меня, которого сожгли бы в Риме, повесили бы в Лондоне и колесовали бы в Вене – гильотинируют в республиканском Париже!

Но все случилось именно так. При сем его вчерашний почитатель Фукье-Тенвиль обвинил Клоотца, этого ненавистника короля, в тайных стремлениях... к восстановлению королевской власти!

Вместе с Клоотцем сел в мою телегу и другой «бешеный» – Эбер, помощник и друг прокурора Шометта. Еще недавно на процессе королевы он произнес наглое лжесвидетельство – это он придумал обвинить бедную королеву в разврате с ее собственным сыном.

По дороге на гильотину толпа, еще вчера им рукоплескавшая, щедро осыпала их проклятьями.

Эбер на гильотине (как и положено трусливым злодеям) совсем ослабел, был малодушен и все молил: «Подождите, граждане!»

И тогда Клоотц с криком: «Да здравствует Всемирная Республика! Да здравствует братство народов!» – бросился на кровавую доску. Он показался мне искренним безумцем, которого следовало отдать врачам, а не гильотине.

Эбера (он был без чувств от страха) мы привязали к доске, и старушка гильотина сделала свое дело.

И толпа, радостно наблюдавшая казнь неистовых республиканцев, неистово кричала:

– Да здравствует Республика!

Но самое невероятное произошло 11 жерминаля. Утром Дантон, Камилл Демулен и их товарищи были арестованы на своих квартирах – и народ безмолвствовал!

Говорят, Дантон, отважившийся бороться с Робеспьером, был уверен: его не посмеют тронуть!

Робеспьер посмел.

Он верит в себя. Марат стал святым после смерти – Робеспьер сумел сделать себя святым при жизни. Жена моего помощника Деморе повесила его портрет вместо иконы в изголовье своей постели. И таких немало. Полоумная старуха, некая Екатерина Тео, назвала себя «Богородицей», а Робеспьера – своим сыном!

Впрочем, еще совсем недавно республиканцы так же молились на Дантона...

Дантон сдался жандармам без сопротивления, Демулен же звал из окон народ на помощь. Но никто не пришел. Люди уже привыкли проклинать тех, кого вчера славили. И отвыкли удивляться.

Они не удивляются, что все вчерашние кумиры Республики – Бриссо, Мирабо, Лафайет, Верньо – объявлены предателями интересов народа. Все эти люди, оказывается, сделали Революцию только для того, чтобы ее погубить! Но и те, кто изобличил их в предательстве, – Шометт, Дантон и прочие – тоже оказались предателями! Предают справа и слева! Предают умеренные и непримиримые!

Теперь остался один Робеспьер. Один – из всей троицы, которую я привык видеть у окна на улице Сент-Оноре.

Я читал сегодня письмо, которое несчастный Демулен отправил жене (и которое, естественно, ей не передали):

«Я залился слезами, я стал громко рыдать в глубине темницы... Пусть так жестоко поступали бы со мной враги... но мои товарищи... но Робеспьер... и, наконец, сама Республика, после всего, что я для нее сделал!.. Руки мои обнимают тебя, и голова моя, отделенная от туловища, покоится на твоей груди... я умираю».

Я присутствовал на заседании Революционного Трибунала.

Фукье-Тенвиль в длинной и монотонной (как обычно) речи потребовал их смерти. И Трибунал, конечно, их приговорил – и Демулена, и Дантона, и их сторонников.

Дантон сказал, усмехаясь:

– Я основал этот Революционный Трибунал и прошу за это прощения у Бога и людей.

Когда я пришел в Консьержери, жандарм хлопнул меня по плечу и сказал:

– Сегодня у тебя крупная пожива – много осужденных! Начальник караула пояснил мне:

– Очень вероятно, что по пути на гильотину осужденным удастся возмутить народ. Тогда тебе следует пустить лошадей рысью. Жандармам уже дан приказ – стрелять в случае беспорядков. На площади все должно быть исполнено тобой как можно быстрее. Надо спасти Республику от этих злодеев!

Начали поодиночке приводить «злодеев» (вчерашних кумиров Республики), читать им приговор. После чего я готовил их к смерти.

Когда привели Дантона, он не захотел слушать тюремщиков. Он прорычал:

– Знать не хочу вашего приговора! Нас рассудят потомки – и они поместят нас в Пантеон!

И равнодушно обратился ко мне:

– Делай свое дело, Сансон!

Я сам подстриг его перед смертью. Никогда не забыть мне его волосы – жесткие и курчавые, как щетина диковинного зверя... При мне он сказал своим друзьям:

– Это начало конца... Будут казнить народных представителей – кучами. Франция задохнется в потоках крови...

Будто раньше не казнили! И кучами! И с его благословения! Помолчав, он добавил:

– Мы сделали свое дело – можно идти спать.

Когда привели Демулена, он сначала плакал и говорил о жене, потом бросился на моих помощников и стал их бить (в эти предсмертные минуты человек обычно становится необыкновенно силен). Четверо держали его, пока я резал волосы. А он все сражался с ними!

И тогда Дантон повелительно сказал ему:

– Оставь этих людей. Они – лишь слуги и исполняют свой долг. Исполни свой долг и ты.

Наконец все было готово. Рассаживались по телегам. Конвой был столь же многочисленный, как и у королевы. Я сел на облучок своей телеги. За мной в первом ряду стояли Дантон и Демулен – так что я слышал их разговоры.

Когда двинулись в путь, Дантон сказал Камиллу:

– Это дурачье сейчас будет кричать: «Да здравствует Республика!» А сегодня у этой Республики уже не будет головы!

Когда мы выехали на бульвар, Демулен стал кричать народу:

– Разве вы не узнаете меня?! – Он старался высунуться из повозки. – Перед моим голосом пала Бастилия! С вами говорю я – первый проповедник Свободы! Ее статуя сейчас обогрится кровью! Ко мне, мой народ! Не допусти, чтобы убили твоих защитников!

Ему отвечали хохотом и ругательствами. Он пришел в ожесточение, и я боялся, что он выбросится из телеги. Дантон сказал ему:

– Замолчи! Неужели ты надеешься растрогать эту покорную сволочь?!

Проезжая мимо кофейной, мы увидели живописца Давида – он рисовал всю нашу процессию.

– И ты здесь, лакей! – прорычал Дантон. – Пойди и покажи свой рисунок своему господину! Пусть он увидит, как умирают воины Свободы!

Мы проезжали мимо дома Робеспьера. Окно, где они так часто стояли вместе, было закрыто. И даже ставни были закрыты. И тогда раздался громовой голос Дантона:

– Робеспьер, ты напрасно прячешься там, за ставнями! Знай: скоро и ты пойдешь за мной! Скоро, очень скоро придет твой черед! И тень Дантона тогда возрадуется!

Все это он сопровождал отборной руганью.

На эшафоте они держались молодцами. Демулен попросил меня передать его локон матери его жены. Потом он взглянул на небо, произнес несколько раз имя жены – и нож опустился!

Его еще не успели очистить от крови предыдущей жертвы, когда Дантон поднялся на эшафот. Я попросил его отвернуться, пока помощники смывают кровь, но он сказал с презрением:

– Велика важность – кровь на твоей машинке... Не забудь показать мою голову народу! Такие головы увидишь не каждый день!

На обратном пути я думал: «Как забавно! Скольких людей перевезла моя тележка! В ней уместилась, пожалуй, вся, без исключения, история Революции. Остался лишь – он. Один!»

Робеспьер.

Кресло для обвиняемого давно вынесено из Трибунала. Вместо него установлен огромный помост, где обвиняемых размещают партиями по несколько десятков человек. Как правило, им ставят в вину участие в заговорах. Фукье-Тенвиль научился «объединять» в этих делах людей, зачастую видящих друг друга в первый раз на заседании Трибунала.

Полуграмотные присяжные, освобожденные решением Конвента от всяких норм судопроизводства, теперь в одно мгновение определяли виновность людей. Им было приказано руководствоваться только патриотическим чувством.

Бесконечная череда обвиняемых... Обвинитель, присяжные, судьи, измученные постоянным недосыпанием, работают не покладая рук, подстегиваемые яростью ненавистников, толпящихся на галереях, в этой ужасной летней духоте, сводящей с ума! Они взбадривают себя алкоголем и патриотическими речами, стараясь превозмочь кровавую дремоту!

Я помню раннее утро... Заседание Трибунала... По обвинению в заговоре вместе с целой группой несчастных осудили бедную Люсиль Демулен. И уже в пять часов пополудни я окончил ее страдания на эшафоте...

В тюрьме ее считали помешанной, ибо ее преследовала одна мысль: побыстрее соединиться там с Камиллом. После них осталась крохотная дочь.

Приговоры идут потоком – 29 жерминаля мы казнили семнадцать человек.

1 флореаля Трибунал осудил во имя Революции тех, кто раньше судил во имя Революции. И я повез на гильотину тех самых судей, чьи декреты исполнял столь долгое время. Двадцать пять членов парижского и провинциальных судов пошли на плаху с президентами во главе!

Утром 19 флореаля мы казнили двадцать восемь человек. Один из них, некто Лавуазье, ученый, попросил отсрочку от казни, чтобы довершить, как он сказал, «открытие, важное для нации». Секретарь Трибунала ответил ему: «Народ не нуждается в твоей науке, и ему нет никакого дела до твоих открытий».

Он был прав – толпа восторженно кричала, когда я показал ей голову ученого.

21 флореаля я присутствовал на заседании, где была осуждена Елизавета – набожная сестра последнего короля. Она выслушала приговор с ласковой улыбкой на устах, обратив глаза к небу, а Фукье-Тенвиль честил ее в самых бранных выражениях! Трибунал под председательством судьи Дюма, конечно,

приговорил ее к смерти, как опасную заговорщицу.

В сообщники ей были приписаны еще двадцать три аристократа. Всех их я рассадил по телегам – уже на следующее утро...

Впрочем, скоро и председатель Трибунала Дюма сядет в мою телегу.

Елизавету велели гильотинировать последней. Когда пришла ее очередь подняться на эшафот, она слегка содрогнулась, но пошла сама...

Она приблизилась к доске. Я хотел снять платок, покрывавший ее плечи, но она воскликнула с непередаваемой, чудной стыдливостью:

– О, ради Бога!..

Тюрьмы переполнены. Но уже придумали, как их очистить для новых заключенных. В Консьержери и в прочие тюрьмы внедрены агенты. Они предлагают несчастным, обреченным на смерть, организовывать заговоры – будто бы для освобождения. После чего «заговорщиков» немедленно отправляют на гильотину.

18 прериаля – двадцать один осужденный за заговоры! Итак – каждый день!

С моими помощниками что-то происходит. Нет ни одного, кто оставался бы спокойным после казней. Лишь выпив изрядную порцию водки, они приходят в себя.

20 прериаля. Мой помощник Луве повесился.

Сегодня отвез на гильотину тридцать два человека по обвинению в заговоре. По дороге я уже не слушал их разговоров, все думал, все вспоминал великие

лозунги Революции – «Свобода! Равенство! Братство! Или Смерть!».

Свобода, которой, увы, давно нет; Равенство, которое видится теперь лишь во сне; Братство, которое все чаще звучит насмешкой...

Из всех лозунгов Республики не подвергается сомнению только один – Смерть!

Погибшие мечты! Хотя одна мечта все-таки стала реальностью!

С раннего детства я был убежден в правах, которые дает мне мое звание, в своем значении для общества. Я верил, что мне доверена трудная и грозная обязанность, и смотрел на пренебрежение и отвращение к своей работе как на гнусный предрассудок.

Я мечтал об иных временах! И вот они пришли. Теперь мы воистину окружены почетом, и самые знаменитые депутаты считают за честь дружить с палачом! Дело уже идет к тому, чтобы не только запретить называть нас «палачами», но поискать нам славное прозвище, достойное той роли, которую мы играем в жизни Республики! Предлагают даже назвать нас «Мстителями Народа» и одеть в подобающие костюмы. Живописец Давид на днях показал мне рисунок нашего одеяния, напоминающего облачения римских ликторов.

Можно сказать, я вкусил славы! Проезжая по улицам на своем страшном экипаже, я слышу только одобрительные клики народа! И страшные в своей ярости фанатичные революционерки, эти фурии гильотины, устраивают мне овации и считают за честь отдаваться моим помощникам!

25 прериала. Из-за жалоб жителей улицы Сент-Оноре, которые не могут более сносить ежедневного проезда множества наших телег, решено перенести гильотину на площадь бывшей Бастилии. Однако народ (здесь живут трудолюбивые и бедные люди) вдруг встретил нас свистом и бранью. Впервые на площади собралось ничтожно мало людей – смотреть казнь! Многочисленные агенты, которые теперь повсюду, были очень сконфужены. И уже ночью мне велели переставить эшафот на прежнее место.

Неужели толпа наконец устала?! А как устал я! Как смертельно устал я!

27 прериала. Редчайший день отдыха. Мы гуляли с племянницами за городом и столкнулись с ним. Его сопровождала огромная собака по кличке Браунт.

Дети никак не могли сорвать дикие розы – мешали шипы. И он поспешил к ним на помощь. Он был одет в голубой фрак, желтые брюки и белый жилет. Волосы его были напудрены, а шляпу он держал на конце маленькой трости.

Он сорвал розы, отдал их детям и ласково беседовал с ними, пока не заметил меня...

Я никогда не видел, чтобы так менялось человеческое лицо! Он будто наступил на змею! Его лоб покрылся испариной, улыбка исчезла. Он проговорил отрывистым голосом:

– Вы...

И замолчал. В глазах у него был ужас!

Он поспешно удалился, не глядя на меня. А я все думал, где я уже видел такие же глаза?

Я вспомнил – король! Наше первое свидание!

Да, это было не отвращение к топору, который верно служил тебе, Робеспьер! Это был твой страх. Твой ужас!

Фукье-Тенвиль стал подвержен галлюцинациям. Он рассказал одному из членов Трибунала, что Сена в лучах солнца кажется ему кровавой. Сейчас он готовит очередной «заговор» среди заключенных. На гильотину должны отправиться сто пятьдесят четыре человека.

29 прериала. У меня был страшный день: гильотина пожрала сто пятьдесят четыре человека! Силы мои истощились, я едва не упал в обморок.. Мне показали карикатуру, которую враги Республики распространяли в городе: на эшафоте среди поля, усеянного бесчисленными обезглавленными трупами, я

гильотинирую... самого себя!

Если это поможет остановить кровавое безумие, я готов хоть сейчас отправиться к Господу со своей головой в руках.

Меня мучают видения. Вечером, садясь за стол, я убеждал жену, что на нашей скатерти – кровавые пятна!

Очередной организованный шпиками «заговор» доставил на мой эшафот двадцать четыре жертвы. Среди них достойны упоминания: семидесятилетний барон Трен, герцог Креки, маркиз Монталамбер и еще один молодой человек, про которого мне сказали, что он поэт. Его звали, кажется, Шенье...

9 мессидора я прекратил записи в своем Журнале. После очередной массовой казни (это было 8 мессидора) я слег в постель. Болезнь заставила меня передать должность сыну...

Сколько дней прошло... Я снова вернулся к перу. Я ищу уединения, но оно меня пугает. Я словно жду кого-то... при всяком шуме меня охватывает необъяснимый страх. Я болен страхом...

Должность исполняет мой сын. Несчастный мой мальчик! Ежедневное число жертв теперь никогда не опускается ниже тридцати, а в страшные дни достигает шестидесяти!

Все славные фамилии прежней монархии торопливо занимают свои места на гильотине, но простого народа – солдат, земледельцев, бедняков – несравненно больше!

9—10 термидора. Сын рассказал, что председательствующий в Трибунале судья Дюма готовился отправить в мою телегу очередную партию осужденных, но

вошли посланцы Конвента и объявили о его аресте. И уже на следующий день Дюма сам сидел в моей телеге...

Робеспьер, несчастный, уничтоженный, старался перекричать вопли восставшего против него Конвента, но издавал только нечленораздельные звуки.

И кто-то бросил ему:

– Это кровь Дантона душит тебя!

Он успел прокричать сквозь рев бесновавшихся депутатов:

– Разбойники, вы торжествуете!

Разбойники... Он был прав: всех честных республиканцев он давно уже отправил под мой топор.

А потом мой сын повез его в моей телеге мимо его дома на Сент-Оноре, и он смог увидеть все, что видели его жертвы, – набережные, заполненные народом, который привычно кричал: «Да здравствует Республика!» И проклинал его!

И свои окна он тоже увидел – но снизу, из телеги!

Круг замкнулся. Теперь я смогу отдохнуть. Теперь действительно вся история Революции уместилась в моей грязной позорной телеге.

Но страх... невыносимый, непередаваемый страх не покидает меня! Господи, спаси!»

Действие второе

Бомарше

Игры писателей

Из архива Шатобриана

Несколько пунктов из «Манифеста Postrisma»:

1. Игра в игру есть жизнь...

3. Презрение к настоящему есть настоящее...

5. Самый маленький остров – наш материк...

.....

9 (последний). Презрение к лающим.

Уроки охоты на льва в Африке.

Барабаны охотников сообщают им, где сейчас лев. И они собираются – множество маленьких местных собачек...

Стая маленьких уродцев берет след. Они не нападают – они лают. И лев не выдерживает – уходит от нестерпимого чая, похожего на вой.

Как и положено льву, он уходит на вершину горы.

Но собачки стаяй без числа бегут за ним. Они лают, они по-прежнему только лают. И не дойдя до вершины, лев падает замертво... От чего он погибает? От их уродства. От мерзкого вида маленькой пасти. От несовершенства озлобленной

твари. От визгливого, позорящего, незатишающего лая...

Он погибает от несвободы. Несвободы от лающих.

(Пункты 2, 4, 6,7, 8 – см. «Манифест».)

Франсуа Рене Шатобриан пишет книгу

4 октября 1814 года

Золотая осень в Волчьей долине.

Все было, как всегда. В день его патрона, Святого Франциска, в большой столовой собрались самые близкие друзья Шатобриана. Рене заставил Селесту пригласить мадемуазель Н. Устроили маленький маскарад – все сидевшие за столом получали прозвища. И, как всегда, он назвался Котом, жена Селеста – Кошкой («Ша» тобрианы[2 - Chat – кот (??).]). А когда решали, как назвать мадемуазель, Селеста, с усмешкой глядя ему в глаза, предложила назвать ее Мышкой.

Селеста не всегда умела быть женой Поэта. Иногда она становилась просто женой, позволяющей себе забыть свое время.

Он шел с мадемуазель по аллее. Все они, эти его влюбленности без числа, обязательно должны были походить на «Божественную» – на Жюльетту. Гений ищет повторений Прекрасного. Вечная Жюльетта, никогда не уходившая из его жизни...

Он засмеялся. Мадемуазель, конечно, похожа на Жюльетту: вздернутый (подмигивающий солнцу) носик; девочка-женщина... Как и Жюльетта, мадемуазель носила римскую прическу «а-ля Тит»: волосы взбиты в локоны и перехвачены лентой. И тот же выходивший из моды пеплос античных богинь – платье с поясом выше талии и глубоким вырезом, открывавшим нежные, слабые плечи и маленькие налитые груди. Как и Жюльетта, мадемуазель грациозно и

ловко при ходьбе придерживала платье рукой, и ее ножка обнажалась по щиколотку.

Ножка мадемуазель, ножка Жюльетты... (Описать. Целомудренно.)

В новой его книге будет целая глава о Жюльетте. Как рассказать их историю? Как не стать смешным, попав в длинный список знаменитостей Европы, пребывавших у ног мадам Рекамье? (Жюльетты! Для него – Жюльетты!)

Люсьен Бонапарт, и сам Наполеон, и герцог Веллингтон, и принц Август Прусский – вот список завоевателей, плененных маленькой Жюльеттой. Как охранить ее честь, но и написать правду о Венере, отринувшей и Марса и Юпитера – ради Поэта?

Тот день... Она – в белой греческой тунике. Луч солнца сквозь деревья на обнаженных руках. Солнце и мрамор. Ослепительно белая туника на нежно-голубой софе... И все! И более он ничего не напишет... Печаль (прошлое, прошлое!) и красота сцены.

Он увлекся и успел прослезиться (легко возбуждался).

Он вспомнил об идущей рядом мадемуазель, ибо вдруг почувствовал... Да, ему показалось, что в наступавшем сумраке за ними кто-то идет.

Он резко обернулся. Никого не было.

Приятное возвращение в реальность... тепло руки очаровательной мадемуазель.

Как забавно было бы соединить сцены... ту сцену с сегодняшней... с мадемуазель... Но это можно только в дневнике.

Впрочем, даже в дневнике ему нельзя... Он – Шатобриан.

Мадемуазель шла молча, опираясь на его руку. Она не проронила ни слова, она знала: Шатобриан думает!

Они подходили к башне. Он рассказывал ей то, что прежде рассказывал Жюльетте, а теперь обычно рассказывает всем им. О борьбе Поэта с владыкой мира. Как Поэт заклеил императора именем Нерона, как был за это выслан из Парижа и как Господь не оставил его – он сумел купить Волчью долину. Так звали кусок земли, где стоял теперь маленький дом Поэта. А в те годы край был дик и пуст. Волки были хозяевами выжженного солнцем пустынного пространства, так напоминавшего пустыню в Аризоне, где в молодости (увы, в далекой молодости!) он сражался с англичанами.

И вот теперь император пал...

И опять, забыв о мадемуазель, он вернулся к своему сочинению.

Король въехал в Париж. С ужасом Поэт наблюдал, как престарелый монарх, кряхтя, вылез из кареты. Подагрические, опухшие слоновьи ноги короля (описать!)...

Надвинув на глаза медвежьи шапки, наполеоновские гвардейцы старались не глядеть на жалкую старость потомка Людовика Святого.

Погруженный в свои мысли, он грозно сказал мадемуазель:

– И вот опять грозное небо над смутной Францией!

(Кстати, не забыть описать в книге, как этим летом по приказу короля сбрасывали Вандомскую колонну Бонапарта. Ожидали, что придут тысячи – низвергать статую кумира, взявшего со страны величайший налог кровью: два миллиона французов лежат в снегах Московии, в пустынях Африки, в полях Европы. Но пришло всего несколько человек, и Поэт был среди них... Впрочем, про Поэта следует опустить. Можно быть несчастным, но нельзя – смешным.)

– И вот после того как он залил кровью всю Европу, толпа захотела прежнего ярма, – сказал он яростно.

Мадемуазель испуганно смотрела на возбужденного Поэта. В борьбе с Бонапартом он больно сжимал ее руку. Но она терпела. Она плохо разбиралась в политике и очень боялась показаться глупой.

– Что-то будет, – уже печально и тихо продолжал размышлять он вслух. – Наполеон рядом, совсем рядом.

(Здесь следует вставить в книгу письмо Фуше, которое ему показали вчера. Письмо к «Агамемнону всех народов» – так льстивый негодяй именуется Александра Первого. Нет, наш великий предатель неспроста доносит русскому царю: «Почитаю долгом сообщить, что спокойствие народов не может быть гарантировано, пока Бонапарт находится на острове Эльба». Он уже знает что-то! И он прав! Тысячу раз прав!)

– Но глупцы в Париже, – вновь грозно обратился он к мадемуазель, – пребывают в спокойствии. Они уверены, что с четырьмя сотнями солдат, оставленных Бонапарту, невозможно отвоевать империю. Но они забыли: этот человек не знает слова «невозможно». А рядом с Эльбой – Италия, воздух его прежней славы, пороховая гарь его побед (записать!)... К нему приехала белокурая графиня Валевская с его сыном. Но белую лебедь поселили на тайной вилле и потом быстро услали. Еще бы! Он наверняка ждет к себе императрицу с наследником. Ему нужен символ прежнего величия. Ибо клянусь, он уже задумал... И Фуше прав. Проклятье!

– Говорят, она его много моложе. Но он ее любит, – тихо сказала мадемуазель.

Он оценил призыв. И, оставив книгу, окончательно вернулся к ней. Погладил ее крохотную руку...

Мадемуазель восторженно смотрела – она была влюблена в него с детства. Как и они все, она росла окруженная рассказами о нем, выросла в сетях его славы. Так что пора вытащить невод...

И голос его стал нежным. Он вернулся к излюбленным рассказам: как собрал здесь, в доме Изгнанника-Поэта, все, что так любил, – свои путешествия. Ливанский кедр (посещение Палестины), пристроенный к дому греческий портик, который держали две мраморные кариатиды (воспоминание о Парфеноне) с одинаковыми лицами все той же Жюльетты... Двойная лестница

внутри дома, повторявшая лестницу в родовом замке Шатобрианов, где прошло его детство, где на скалистом островке он хотел бы лежать после смерти...

Глаза мадемуазель (как у всех у них) наполнились слезами. Впрочем, и сам он был растроган.

Сумрак опустился на аллею. Они подходили к башне – их плечи касались. Пришло время рассказа о его деревьях.

Он указал на маленькие деревца вдоль дороги, жалкие в печальных сумерках:

– Они – мои дети. Я знаю каждое из них, уважаю их характер. И у всех есть имена. В жару я укрываю их, как мать, своей тенью. Когда я состарюсь, они станут большими, и уже они укроют меня своей тенью, они станут заботиться обо мне.

И опять наполнились слезами ее глаза.

И вновь это наваждение – он почувствовал, что кто-то за ними идет. Он резко обернулся: аллея была пуста.

Они пришли к башне – здесь он работал. В раскрытую дверь был виден его стол, глядевший в зелень.

Пора рассказать ей эту романтическую историю – историю его маленькой башни.

– Один из прежних владельцев Волчьей долины служил в национальной гвардии. И когда свора рыбных торговков, обезумевшая толпа черни, ворвалась в королевский дворец, когда во дворе Тюильри уже валялись трупы швейцарских гвардейцев и несчастный король покорно напялил фригийский колпак, так похожий на шутовской, сей Андре Аклок, кажется, именно так его звали... (он каждый раз рассказывал эту историю чуть-чуть иначе и давно забыл, что же было в скучной действительности, забыл и имя героя) – бесстрашно защищал королеву от разъяренной черни. И Антуанетта обещала: когда смута закончится, она придет навестить преданного героя.

Андре построил эту башню, ожидая ее. Тщетно ожидая...

Они стояли у открытой двери башни. Позади стола уходила вверх винтовая лестница, звавшая на второй этаж. Там стояла историческая софа, где Поэт дремал, когда на него напал «сон сочинительства». Стыдная сонливость всегда преследовала его в первые часы, когда он начинал сочинять.

На этой же софе Жюльетта... Но молчание! «Тени легли на землю, и в тишине далеко, где-то там, на верхней дороге, слышался звук телеги... и бутылка вина на столе блестела в лучах заходящего солнца. Земля расставалась с жарким днем – увы, с одним из последних жарких, уже осенних дней. Печаль прощания... Перистое облако, как летящий ангел...»

Он легонько тронул пальцами ее щеку. И мадемуазель шепотом сказала ему то, чего он так ждал:

– Пощадите меня.

Он чуть приблизил лицо, и мадемуазель, поднявшись на цыпочки, торопливо, неумело, по-детски поцеловала его. И пока длился поцелуй (о свежесть, о детский запах ее губ!), он привычно колебался, решаясь, что делать после. Все было как всегда: уже решившись подняться с ней на второй этаж, он, оторвавшись от ее слабых, покорных губ... решил все-таки не подниматься!

Он нежно прикоснулся к ее лицу (ветерок, тронувший лист, дуновение... и пробудившаяся Афродита... нега, томление пробуждения...).

Он понял, что напишет:

«Я сказал ей: «Я могу вас любить, но никогда не смогу быть вашим, ибо лист, падающий с дерева, тростник, колеблемый ветром, или облако... вон то облако, сонно плывущее над домом, заставят меня забыть о вас. Простите старого Поэта».

И он сказал ей это. Она заплакала. И поцеловала его руку.

Они подошли к дому. Как всегда, он уже жалел о случившемся.

Мадемуазель уезжала последней. Он провожал ее.

Красные глаза девочки... Усмешка Селесты...

Но он («как обычно», – напишет потом Селеста в мемуарах) предпочел не заметить беспощадной улыбки жены.

Он смотрел, как крохотная туфелька красотики ступила на лесенку фиакра, и поймал последний взгляд мадемуазель. Влюбленный взгляд...

Экипаж, исчезающий за поворотом аллеи... или лучше так: «освободивший для взора всю таинственную длину аллеи: печаль осеннего вечера (как рано темнеет!), шорохи падающей листвы, шум фонтана – шепот воды, бегущей среди мрамора».

И вновь ощущение внезапного непонятного страха. Как только фиакр скрылся за поворотом, он позвал слугу и приказал осмотреть парк.

Он вошел в башню.

Тишина. Деревья. Ветер. Качаются высокие кроны. Экономная природа: кроны деревьев – те же вознесенные к небу корни, только нежные, ибо живут в небе. И крепость окаменевших корней – там, в земле... Пахло костром. Слуги жгли опавшие листья.

Запах смерти.

Он назовет книгу – «Записки из могилы». Вчерашние события... Листья опали и уже сожжены. Книгу должно напечатать после его смерти.

Смерть... Как сладка жалость к самому себе! После смерти он продолжит говорить с миром: «О мой читатель, я не слышу тебя, я в уже могиле, которую ты попираешь ногами».

«Замогильные записки» о его жизни. О времени.

Как положено гению, он пришел в мир Накануне.

Как любимый им Цицерон, он наблюдал Вселенскую Катастрофу.

Его жизнь была достойна его дара.

Итак, начало. Тот день (увы, такой далекий!), когда он, молодой потомок древнего рода, был представлен ко двору.

Толстый Людовик Шестнадцатый... Этот верный муж странно заканчивал череду любвеобильных Людовиков. Гордый нос Бурбонов украшал тогда потомство многих фрейлин. «Бог простит, свет забудет, но нос останется» – он застал эту шутку, модную тогда в Версале. Бедный Шестнадцатый Людовик – добродушный толстяк, жертва за грехи своих предков, тщетно старавшийся задобрить нацию, выросшую из пеленок. И Антуанетта – маленькая, грациозная, воплощение Галантного века. «Королева рококо» оказалась искрой, которая запалила пороховую бочку.

Залы Версаля, выставка могущества и роскоши... В зеркалах – игра свечей, горящих в гигантских канделябрах: отражаются, дwoятся кружева, воланы, ленты, мерцают бриллиантовые пуговицы, фалды расшитых камзолов... Обнаженные плечи... Поток драгоценностей слепит в зеркальной стене. (Бал призраков. Описать!)

Режим казался вечным. И никогда не был так близок к гибели.

Ангел уже вострубил, и скоро рухнет величайший трон в Европе... Восемь веков монархии – великого опекуна нации – заканчивались. Нация выросла. Она решила жить без пастырей – королей.

Революция... И плоть человеческая станет прозрачной в огне и крови. И в безвестную яму будет брошена жертва грядущему, прекраснейшая плоть Галантного века – королева. Варварский обряд похорон жертв гильотины: между раздвинутых ног Марии Антуанетты положат ее голову – самую красивую голову Европы.

Его первый бал... Кузина, обучившая его любви... Ее платье из атласа (описать: светлые, будто ослабевшие, пастельные тона).

И свершилось: голубой плащ кузины, столь величественно ниспадавший с ее плеч, сброшен у кровати; розовая сумочка «помпадур», перчатки и муфта полетели на кресла...

Она стоит в обруче, еще мгновение назад поддерживавшем широкую, как корабль (нужно другое сравнение), юбку. Бесстыдно белеет нижняя рубашка, украшенная серебром и кружевом. Ее слабая ножка... мягкие туфли из шелка с драгоценными камнями...

Он растерялся. Ее смех: «Ну же, помогите несчастной избавиться от последнего оплота добродетели».

И обруч падает. Бьют часы. Таинственная ночь, когда Поэт потерял невинность...

Кузину обезглавят. И голову, которую он целовал, уложат между ног в шелковых туфельках...

Революция... Ее все ждали, все о ней говорили. Сколько просвещенных умов, сколько потомков древнейших родов считали хорошим тоном издеваться над слабым королем, любить Вольтера и считать Бога выдумкой для дураков! Но несмотря на все вольности в разговорах, никто не думал изменять присяге. О революции болтали с удовольствием, ибо всерьез не верили в нее.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Egalite – равенство (??.)·

2

Chat – кот (??.)·

----

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/edvard-radzinskiy/napoleon-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)